НАСЛЕДИЕ ТЬМЫ

КНИГА №5

Равновесие



Александр Фрост

Александр Фрост

Наследие тьмы 5. Равновесие

«Автор»
2026

Фрост А.

Наследие тьмы 5. Равновесие / А. Фрост — «Автор», 2026

Зима ушла, а вместе с ней — и иллюзия безопасности.В родовом поместье Дренмор наконец-то тихо. Растёт дочь, теплеют отношения, кажется, что худшее позади. Но почта из Северной ведомости приходит всё чаще, а цифры в донесениях перестают сходиться с привычными расчётами.То, что годами двигалось медленно и предсказуемо, вдруг начинает вести себя иначе. Где-то далеко на севере что-то меняется. Где-то совсем близко — происходят странные, почти незаметные вещи, которые невозможно списать на случайность.Александр Дренмор стоит между двумя мирами: домом, который он впервые по-настоящему полюбил, и древней угрозой, которая больше не собирается ждать. Рядом — жена, которая больше не согласна оставаться в неведении, и союзники, готовые идти до конца.Пятая книга цикла — о хрупком равновесии между личным счастьем и долгом, о цене, которую приходится платить за каждую минуту покоя, и о выборе, от которого зависит куда больше, чем одна судьба.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Не на девять шагов 5
Глава 2. Второй курс 13
Глава 3. Арифметика конца 19
Глава 4. Малые Вязы, второй раз 25
Глава 5. Красильня 32
Глава 6. Совет всех 39
Глава 7. Как спрашивают у выцветших 46
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Александр Фрост
Наследие тьмы 5. Равновесие

Глава 1. Не на девять шагов

Верена Дренмор произнесла своё первое связное слово в конце марта, на исходе первого года жизни и восьмого месяца, — и слово это, к глубокому неудовольствию обоих её родителей, оказалось «Марта».

— — заметил Александр, — я нахожу это несправедливым.

— Ты полгода отсутствовал, — отозвалась Изольда, не отрываясь от рукоделия, в котором за минувший год так и не преуспела. — А Марта присутствовала.

— Изольда, я произносил при ней слово «отец» не менее двухсот раз. Методично. Ежедневно. С чётким разделением слогов.

— Именно поэтому она его и не сказала. — Изольда воткнула иглу. — Александр, ребёнок повторяет за тем, кто с ним разговаривает, а не за тем, кто его дрессирует. Марта с ней разговаривает. Ты с ней проводишь занятия.

«— с отвратительным удовольствием заметил Хранитель, — тебе только что указали на изъян в педагогическом методе, который ты, применял и к взрослым».

Старина, если ты сейчас начнёшь проводить параллели с моими учениками…

«Я как раз собирался начать с двенадцати слушателей закрытого курса. У них, полагаю, ровно та же беда: ты им читаешь, а не разговариваешь».

старина, за минувший год ты сделался решительно невыносим.

Он посмотрел на дочь.

Она сидела на ковре, обложенная подушками, — за зиму она выучилась ходить, и ходила теперь всюду с деловитой стремительностью человека, у которого множество неотложных дел, — и в данную минуту с сосредоточенным упорством пыталась запихнуть деревянную ложку в узкое горло кувшина.

Ложка не влезала.

Верена попробовала одиннадцать раз. Александр считал.

На двенадцатый она отложила ложку, взяла кувшин обеими руками, посмотрела в него, перевернула, вытрясла на ковёр остатки воды, оценила результат и снова взялась за ложку.

«— заметил Хранитель, — она только что провела эксперимент».

старина, она только что проверила, не в кувшине ли дело. за тысячу лет я знавал магистров, не додумавшихся до этого к сорока годам.

Курьер Северной ведомости прибыл на четвёртый день после первой оттепели, и Александр понял, что дело скверно, прежде чем сломал печать.

Курьеров ведомства он знал в лицо всех четверых. Этого — Стеня, самого молодого, гонявшего южное направление, — он видел за минувшую зиму шесть раз, и всякий раз тот входил, кланялся, отдавал пакет и просил разрешения обогреться.

Сегодня он не попросил.

Он стоял в холле, в мокром плаще, с которого натекла лужа, и держал пакет обеими руками, и по нему было видно, что за последние сутки он не слезал с седла и не намерен слезать.

— Мне велено дождаться ответа и везти обратно, — сказал он. — Барон сказал: «Пусть хоть одну строку, но сегодня».

«— быстро произнёс Хранитель, — тебе следует читать стоя».

Александр сломал печать.

Внутри было три листа.

Первый — донесение Одвина, писанное уставным орденским почерком, но не рукой писца: почерк был крупный, неровный, и Александр, повидавший за тысячу лет достаточно донесений, узнал в нём почерк человека, писавшего сам, потому что не пожелал диктовать.

«Промер произведён двадцать восьмого числа, при пяти свидетелях, от репера, поставленного магистром Морвейном прошлым летом.

Прошу считать нижеследующее не ошибкой. Промер произведён трижды, тремя разными людьми, тремя разными мерными шнурами, с промежутком в сутки. Расхождение между тремя измерениями — четыре шага.

Расстояние от репера до линии сократилось на две версты сто сорок шагов.

Осенний промер, произведённый в тех же условиях, показал прежнее расстояние. Между промерами — сто пятьдесят два дня.

Обитель на месте. Братьев двадцать два, потерь нет. Четверо дозорных и брат Северин находятся на прежнем месте, но переместились: они теперь сидят на семьсот шагов южнее, чем сидели осенью, и я утверждаю, что их никто не переносил. Кормим.

Приходная книга ведётся. Промер внесён.

Одвин, ведающий делами Ордена».

Александр прочёл это дважды.

Потом положил лист на столик у зеркала — очень аккуратно, потому что руки у него в эту минуту были не вполне свои, — и взял второй.

Второй лист был от Ласка.

«Господин Дренмор. Я знаю, что вы сейчас пересчитываете, и знаю, что у вас получится. У меня получилось четырнадцать шагов в сутки против девяти прошлогодних.

Не тратьте на это времени. Считает не так.

Возьмите третий лист.

Х.Л.»

Третий лист был таблицей.

Четыре столбца: дата промера, расстояние от репера, число суток от предыдущего промера, шагов в сутки. Строк было шесть — все промеры, произведённые с прошлого лета.

Александр посмотрел на последний столбец.

Девять.

Девять.

Одиннадцать.

Четырнадцать.

Девятнадцать.

Двадцать шесть.

«— сказал Хранитель, — тебе следует сесть».

старина, мне следует немедленно позвать Морвейна.

Морвейн работал два дня.

Он занял под это большой стол в библиотеке, обложился листами, потребовал у Марты весь запас свечей и на второе утро объявил, что ему нужен второй счётчик, потому что «руки устают, а ошибка в четвёртом знаке испортит всё».

Вторым счётчиком вызвался быть коронный писарь.

Точнее — новый коронный писарь: Ласк прислал его прошлой осенью взамен Курта Хальда, и звали его Ирвин Кросс, и был он двадцати восьми лет, немногословен, дотошен и с первого дня в поместье заслужил у Марты характеристику «этот не жрёт, этот считает».

Он считал шестнадцать часов подряд.

К вечеру второго дня Морвейн вышел к ужину, сел, отодвинул тарелку и произнёс:

— Юный наследник. Оно ускоряется.

— Это я установил самостоятельно, магистр, — заметил Александр. — для данного вывода мне хватило шестого столбца.

— Нет, — сказал Морвейн. — Простите. Я неточно выразился, а сейчас неточность недопустима. — Он придвинул лист. — Оно не просто идёт быстрее. Оно ускоряется равномерно.

В библиотеке стало тихо.

— Поясните.

— Смотрите сюда. — Морвейн ткнул пером. — Прирост скорости между промерами: два, три, пять, семь. Отношение приростов к промежуткам — постоянное, с отклонением менее сотой доли. Юный наследник, это кривая. Правильная кривая, описываемая одним выражением, которое я вывел вчера в четвёртом часу ночи, и я с тех пор четырежды пытался найти в нём ошибку и не нашёл.

— И что даёт выражение?

Морвейн помолчал.

— Оно даёт срок, — сказал он. — При сохранении зависимости граница достигнет ближайшего жилья — деревни Стылые Дворы, сто десять вёрст — не через триста лет, как я полагал прошлым летом. И не через тридцать пять.

— Сколько, магистр?

— Одиннадцать лет, — сказал Морвейн. — До Кайрана — четырнадцать. До Тенистой долины — пятнадцать с половиной.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — тебе следует потребовать проверки».

старина, магистр её уже произвёл, и произвёл четырежды, и именно поэтому у него такое лицо.

Александр смотрел на кривую.

Она была нарисована пером, аккуратно, с подписанными делениями, и начиналась почти горизонтально, и загибалась кверху, и к правому краю листа уходила почти отвесно.

— Магистр, — сказал он. — Один вопрос, и я прошу отвечать не как учёный, а как человек, вычисливший это первым. Вы уверены, что она загибается, а не выпрямляется?

Морвейн поднял на него глаза.

— Юный наследник, — сказал он, — за минувшие сутки я задал себе этот вопрос семь раз. — Он снял очки. — Я не уверен. У меня шесть точек. По шести точкам можно провести и такую кривую, и другую, и третью. Всё, что я могу утверждать честно: из тех кривых, что проходят через мои шесть точек, самая простая — эта. Прочие требуют допущений, которых у меня нет.

— А если оно выпрямляется?

— Тогда, — сказал Морвейн, — у нас от восьмидесяти до ста лет и время подумать. — Он надел очки обратно. — Но я, юный наследник, тридцать лет проработал в Академии и скажу вам как человек, четырежды видевший, чем кончается «возможно, оно выпрямится». Оно не выпрямляется. Оно никогда не выпрямляется. Оно выпрямляется только в отчётах тех, кому надо дожить до пенсии.

Ответ Ласку писали в ту же ночь.

Он вышел коротким — Александр переписал его дважды и в окончательном виде оставил семь строк, — и все семь были сухи, как отчёт о ремонте моста.

«Барон. Расчёт магистра Морвейна прилагаю в двух копиях, с выкладками.

Срок при простейшем допущении: одиннадцать лет до ближайшего жилья, четырнадцать до столицы.

Прошу довести до его величества немедленно и без смягчений. Прошу также довести, что расчёт построен на шести измерениях и что честный человек на месте магистра назвал бы его правдоподобным, а не доказанным. его величество способен работать с такой формулировкой; полагаю также, что канцлер способен извлечь из неё повод не работать вовсе.

Выезжаю в Кайран, как встанут дороги.

А. Дренмор».

Стеня уехал на рассвете, и, глядя ему вслед с крыльца, Александр поймал себя на соображении, показавшемся ему неуместным до неприличия.

старина, я завидую этому мальчишке. Он повезёт лист, на котором написано, что миру осталось четырнадцать лет, и всю дорогу будет думать о том, где менять лошадей.

«— отозвался Хранитель, — в этом и состоит основное преимущество всякой службы. я подозреваю, что человечество выдумало должности именно ради этого».

Кассандра появилась во дворе, когда он ещё стоял на крыльце.

Она жила в поместье с прошлой осени — официально в качестве посольства Тенистой долины при доме Дренмор, фактически же занималась тем, чем занималась всю жизнь: ходила, смотрела и запоминала.

Марта, поначалу принявшая её настороженно, к зиме прониклась и теперь именовала «нашей долинной», что в её системе означало высшую степень принятия.

— Дренмор. Правда, что четырнадцать лет?

— Уже знаешь?

— Морвейн ночью выходил во двор и разговаривал сам с собой, — сказала Кассандра. — Довольно громко.

«— заметил Хранитель, — секретность в этом доме организована на редкость своеобразно».

— Правда, — сказал Александр. — При простейшем допущении.

Кассандра кивнула, будто услышала прогноз погоды.

— Тогда у меня к вам разговор, и лучше сейчас, покуда вы не уехали. — Она поднялась на две ступени и села на крыльцо. — Я всю зиму ходила по вашим волостям.

— Я заметил.

— Не заметили. Вы полагали, что я езжу по деревням от скуки. — Она смотрела прямо перед собой. — Дренмор, я обошла двадцать девять селений. Не ваших только — соседских тоже, и барона Ринвальда, и монастырские. Я расспрашивала не про Орден и не про политику. Я расспрашивала про беспамятство.

Александр медленно опустился на ступень рядом с ней.

— Продолжай.

— Из двадцати девяти в семи мне рассказали случаи, — сказала Кассандра. — Не про сёла — про людей. Отдельных. Пастух ушёл с отарой на день пути и вернулся через четыре, и отара цела, и он клянётся, что был день. Баба в Косом Логу принесла из леса корзину земляники в конце сентября и не поняла, отчего все смеются. Мужик уснул на покосе и проспал, по его счёту, час, а покос за это время скосили без него, и он не поверил и подрался.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — тебе следует спросить о сроках».

— Когда это было?

— Вот, — сказала Кассандра. — Вот за этим я и пришла. Все семь случаев — за минувшие два года. Я нарочно спрашивала, не бывало ли такого при дедах. Не бывало. Слыхали про порчу, про лешего, про дурную воду — про это не слыхали.

Она повернулась.

— Дренмор, до Тишины отсюда тысяча двести вёрст. У нас тут не выцветают сёла, у нас пропадает по человеку. Но пропадать оно начало два года назад, а не двести.

Александр молчал долго.

Старина.

«Слышу».

Морвейн считает по границе. Граница — это то, где оно уже закончило. А это, — он смотрел на утоптанный весенний снег во дворе, — это, полагаю, то, как оно пробует.

«— сказал Хранитель, — тебе следует немедленно сообщить об этом магистру, покуда он не отправил свою кривую королю».

Кривая уже уехала, старина. С мальчишкой, который думает о лошадях.

Магистра Морвейна он застал в библиотеке через час — тот сидел над своей кривой в той же позе, в какой был оставлен, и, судя по нетронутому подносу, за это время не ел.

— Магистр. Отложите перо и слушайте.

Он изложил всё, что рассказала Кассандра: семь случаев, двадцать девять селений, тысяча двести вёрст, два года.

Морвейн слушал, не перебивая, и лицо его по мере рассказа делалось всё более неподвижным.

— Сколько человек в каждом случае? — спросил он, когда Александр закончил.

— Один. Во всех семи — один.

— И все семь — за два года.

— Все семь.

Морвейн очень медленно отодвинул от себя лист с кривой.

— Юный наследник, — сказал он. — Я всю зиму мерил не то.

— Магистр…

— Нет, прошу, дайте договорить, покуда я это держу в голове целиком. — Он потёр лицо ладонями. — Я мерил границу. Граница есть край области, где оно уже закончило работу и ушло. Я строил кривую по краю — то есть по следу. По следу, юный наследник! Всё равно что судить о скорости лошади по глубине копытного отпечатка.

— А эти семь случаев?

— А эти семь случаев, — сказал Морвейн, — это, полагаю, не след. Это работа. — Он схватил чистый лист. — Оно берёт по одному человеку за тысячу двести вёрст от собственной границы. Оно взяло девяносто шесть человек в Малых Вязах за восемьсот сорок. Оно ползёт девять шагов в сутки там, где мы его меряем. Юный наследник, это три разных числа, и до сегодняшнего вечера я полагал, что первые два — исключения, а третье — правило.

— А теперь?

Морвейн поднял голову.

— А теперь я полагаю наоборот, — сказал он. — что девять шагов в сутки — это не то, как оно движется. Это то, как оно оседает. Пепел, юный наследник. Пепел не идёт вперёд. Пепел ложится там, где всё кончилось. Он и должен ползти медленно и равномерно, он и ползёт.

Он схватил перо, и оно тут же брызнуло на лист.

— А само оно, — сказал Морвейн, — уже везде.

В библиотеке стало очень тихо.

— Магистр, — произнёс Александр после паузы. — Я обязан спросить, и спрошу прямо. Вы это утверждаете или предполагаете?

Морвейн замер.

Потом положил перо, аккуратно, поперёк чернильницы, и посмотрел на свои руки.

— Предполагаю, — сказал он. — Простите. Вы правы, что спросили, — я как раз начал делать то, за что тридцать лет ругал студентов. У меня семь рассказов, пересказанных Кассандрой со слов деревенских, и ни одного промера. Это не данные. Это слухи, которые хорошо ложатся в мою догадку, а хорошо ложащиеся слухи — самая опасная вещь в нашем деле.

— Что вам нужно, чтобы это стало данными?

— Люди, — сказал Морвейн. — Много. Не учёные — грамотные. По одному на волость, с бумагой, с чёткой формой опроса и с приказом писать даже тогда, когда писать нечего. — Он поднял глаза. — Юный наследник, вы понимаете, что я прошу? Я прошу поставить в каждой волости королевства человека, который будет вести приходную книгу беспамятства.

«— заметил Хранитель, — за минувшие девятьсот лет данный подход уже кто-то применял».

старина. И, я нахожу совершенно невыносимым то обстоятельство, что мы додумались до этого только сейчас — и додумались потому, что нам показали образец.

Изольда выслушала всё вечером, в детской, где Верена наконец уснула после сорока минут упорного сопротивления.

Она слушала молча, до конца.

— Значит, четырнадцать лет, — сказала она.

— При простейшем допущении.

— Александр, — Изольда посмотрела на него. — Скажи мне одну вещь честно. Ты уезжаешь в Кайран, потом на север, и, полагаю, потом ещё куда-нибудь. Ты будешь считать, спорить с королём и вычислять кривые. Вот скажи: в этих расчётах есть место, где может стать лучше?

Он ответил не сразу.

— Есть, — сказал он. — Одно.

— Какое?

— Если печать можно поставить заново.

— А её можно?

— Не знаю. — Александр смотрел на спящую дочь. — Изольда, я тебе не стану врать, и, за минувший год я усвоил, что врать тебе бессмысленно, поскольку ты всё равно узнаёшь и потом четыре дня не спишь. Я не знаю ни как она поставлена, ни кем, ни на чём держится. Я знаю только, что девятьсот двенадцать лет она держалась, а теперь перестала, и что человек, который вёл этому счёт, осенью объявил, что досчитал.

— И что ты намерен делать?

— То же, что делал всегда, — сказал Александр. — Я намерен идти туда и разбираться на месте. за тысячу лет я не изобрёл ничего лучше.

Изольда помолчала.

— Я поеду с тобой, — сказала она. — Мы договорились.

— Договорились.

— Ты не будешь отговаривать?

— Не буду, — сказал он. — Но я обязан сказать одну вещь, а ты обязана её выслушать, и после этого мы к ней не вернёмся. — Он повернулся к ней. — Это не будет похоже на войну. На войне человека можно закрыть собой. Там, куда мы поедем, закрывать собой нельзя: оно не бьёт, а забирает, и оно не отличает того, кто впереди, от того, кто сзади. Если оно возьмёт тебя, я не смогу сделать ничего — совсем ничего, ни в ту минуту, ни после. Я хочу, чтобы ты решала, зная это.

Изольда долго молчала.

— Знаешь, что самое страшное в том, что ты сейчас сказал? — произнесла она наконец. — Не то, что ты не сможешь. А то, что ты это выяснил заранее. Ты сидел где-то и специально это обдумывал.

— Обдумывал.

— Когда?

— Всю зиму, — сказал Александр. — чаще всего — по ночам, глядя, как ты спишь.

Ночью, когда в доме всё стихло, он спустился в библиотеку и до третьего часа перебирал бумаги.

Восемьсот листов Малахии, переписанные Морвейном набело и переплетённые в четыре тома.

Семьдесят четыре листа отчёта по Малым Вязам.

Промеры Северной ведомости за полтора года.

Опись Хранителя, составленная покойным Куртом Хальдом и подписанная им по всем правилам коронной палаты, — единственный документ на свете, где было перечислено, чего Хранитель не помнит.

Он перечёл её в четвёртый раз за год.

Как оказался в склепе. Кто положил. Что было до склепа — ничего. Собственного имени. Был ли человеком. Где видел знак.

Старина.

«Слушаю».

Один вопрос. Я его не задавал за минувший год ни разу, и, признаться, не задавал намеренно.

«я знаю, какой».

знаешь. — Александр положил ладонь на опись. — Дверь. Ты держишь её по моему приказу. Приказ я услышал год назад, и он не отменился. Так вот, вопрос не о том, что за ней. Вопрос вот в чём: если печать рвётся, если срок вышел, если через четырнадцать лет всё это кончится — приказ всё ещё имеет силу?

Хранитель молчал.

Молчал долго — так долго, что Александр успел встать, дойти до окна и вернуться.

«Александр, — сказал он наконец. — Я обязан ответить точно, поэтому отвечу в два приёма.

Первое. Приказ имеет силу. Он не содержит условий: там нет ни „покуда", ни „если", ни „до тех пор, пока". Он безусловен. Я проверял его формулировку за минувший год, полагаю, тысячу раз».

А второе?

«А второе, — очень тихо произнёс Хранитель, — состоит в том, что я за минувший год научился думать о нём как о приказе, а не как о собственном свойстве. И это, Александр, единственное, что изменилось. Но, полагаю, это немало».

Александр стоял с ладонью на описи.

Старина. Если я однажды попрошу тебя нарушить его — ты нарушишь?

«Нет, — сказал Хранитель. — Ты сам это запретил, и запретил именно на такой случай: „если станет приказывать — не подчиняйся, если станет умолять — не слушай"».

Тогда как?

«— сказал Хранитель, — единственный путь состоит в том, чтобы я решил сам. Не по твоей просьбе. Не тебе в угоду. Сам, по собственному разумению, взвесив последствия и приняв на себя вину».

Он помолчал.

«И, Александр, я обязан предупредить, что этот путь тоже небезупречен. Триста лет в темноте и полтора года при тебе — это всё, чем я располагаю для суждения. У меня, крайне скудная выборка».

Он поднялся наверх в четвёртом часу и по дороге заглянул в детскую.

Верена спала на животе, подтянув колени, как спят все годовалые дети мира, — и левая рука её была вытянута поверх одеяла ладонью вверх.

Александр остановился в дверях.

Знак был виден в свете лампы: замкнутая линия, семь коротких штрихов по окружности, один в центре.

За минувший год ребёнок вырос вдвое.

Знак остался тем же.

«— сказал Хранитель, — ты стоишь здесь третью ночь подряд».

Пятую, старина.

«тебе следует спать».

старина, мне следует научиться делать это одновременно.

Он постоял ещё немного, глядя, как поднимается и опускается спина под одеялом, и пошёл к себе.

За окном, в конце марта, шёл первый настоящий весенний дождь, и по подъездной аллее сходил последний зимний снег.

Одиннадцать лет до Стылых Дворов, — думал он, засыпая. — Четырнадцать до Кайрана. Пятнадцать с половиной до Долины.

А ей сейчас год и восемь месяцев.

Стало быть, к тому времени, когда оно дойдёт до столицы, ей будет пятнадцать.

«— очень тихо отозвался Хранитель, — ты только что произвёл единственный расчёт, который тебе действительно был нужен».

Глава 2. Второй курс

Дороги встали к середине апреля, и первого числа мая Александр приехал в Кайран — на четыре дня раньше, чем требовалось для заседания Совета, и на десять дней позже, чем следовало бы, если исходить из кривой магистра Морвейна.

Академия Равновесия встретила его так, как встречала весь минувший год: вежливо, настороженно и с отчётливым намерением сделать вид, что ничего необычного не происходит.

— Молодой Дренмор, — сказал магистр Стейн, принимая его в том же тесном, заваленном бумагами кабинете. — Прежде чем вы изложите то, ради чего приехали, я обязан предупредить вас о трёх вещах.

— Слушаю.

— Первое: в Совете вас теперь называют «королевским поверенным», и называют не с уважением. — Стейн разлил по кружкам чай, что было дурным знаком: вино он подавал, когда новости были простыми. — Второе: за минувшую зиму семнадцать членов Совета подписали запрос о том, соответствует ли уставу совмещение кафедры с королевской службой. Ответа пока нет, потому что комиссия не собиралась.

— А третье?

— А третье — что запрос подал не магистр Ортен, — сказал Стейн. — Подал магистр Далль, а Ортен голосовал против. И вот это, молодой Дренмор, и есть настоящая новость, из-за которой я вас предупреждаю.

«— заметил Хранитель, — тебе следует уточнить формулировку. Сие может означать как поддержку, так и нечто значительно менее приятное».

старина, это означает, что за минувший год он собрал против меня основания получше. я бы на его месте поступил так же.

Первое занятие второго курса состоялось на следующий вечер, в той же нижней аудитории северного корпуса.

Из двенадцати первогодков осталось десять. За зиму не выбыл никто — что, по мнению магистра Стейна, само по себе было беспрецедентно и наводило на подозрения.

Александр вышел к кафедре, разложил бумаги и с полминуты просто смотрел в аудиторию.

Они изменились.

Год назад двенадцать человек сидели, как сидят студенты на первом занятии: прямо, напряжённо, с чистыми тетрадями и общим выражением лица, которое Александр про себя определял как «мы пришли посмотреть на чудовище».

Теперь они сидели свободно.

Виктор Эшвальд, во втором ряду, чинил перо и о чём-то вполголоса спорил с соседом. Лиэн Сорд, девушка, пришедшая на курс потому, что её отец голосовал против, сидела с двумя раскрытыми тетрадями сразу и явно перенесла в них половину его прошлогодних лекций. Кто-то жевал.

старина, за тысячу лет я так и не привык к тому, насколько быстро человек привыкает.

«— отозвался Хранитель, — сие есть основное свойство вашего вида и главная причина, по которой он до сих пор не вымер».

В третьем ряду, у прохода, на своём месте сидел магистр Ортен.

Перед ним лежала раскрытая тетрадь, придерживаемая тяжёлым пресс-папье, и он уже держал перо в левой руке. За минувший год почерк его выправился: Александр однажды видел эти записи и отметил, что человек, потерявший правую руку в семьдесят, за девять месяцев выучился писать заново и делает это аккуратнее половины его студентов.

— Прежде чем начнём, — сказал Александр, — я обязан объявить об изменении программы. Оно существенное, оно принято мною единолично, и, полагаю, за него мне придётся отвечать перед Советом.

Аудитория затихла.

— Первый год был посвящён распознаванию, — сказал он. — Вас учили видеть тьму и оставаться после этого в живых. вы это усвоили: из тридцати одного плетения, показанного за год, десять человек из десяти узнают двадцать девять.

Он выждал.

— Второй год будет посвящён применению.

Тишина продержалась ровно одну секунду.

Потом магистр Ортен поднялся.

— Дренмор, — сказал он. — Я обязан возразить, и возразить немедленно, при них, а не после занятия в коридоре.

— Возражайте.

— Совет постановил учредить закрытый курс сравнительных практик. — Ортен говорил ровно, не повышая голоса. — В постановлении, которое я перечитывал не далее как позавчера, стоит: «с целью изучения признаков и последствий». Ни слова о применении. Вы не изменяете программу, вы выходите за пределы того, что вам разрешено.

— Совершенно верно, — сказал Александр.

Ортен слегка сбился.

— Вы признаёте?

— Признаю целиком и полностью и, более того, прошу вас внести это в тетрадь дословно, потому что ваши записи, полагаю, лягут в основу разбирательства и мне бы не хотелось, чтобы там оказалась неточность. — Александр оперся о кафедру. — Магистр, я вышел за пределы постановления. Я сделал это намеренно. И сейчас я объясню, зачем, а вы вправе после этого выйти из аудитории и подать запрос сегодня же вечером.

Он повернулся к аудитории.

— Позавчера мне доставили расчёт, произведённый магистром Морвейном по шести измерениям Северной ведомости. Расчёт правдоподобен и не доказан, и я прошу вас держать в голове обе половины этой формулировки. — Он выждал. — Из него следует, что явление, которое мы весь минувший год называли северным, достигнет столицы через четырнадцать лет.

Кто-то в задних рядах уронил перо.

— Кайран, — повторил Александр. — Не приграничная волость. Не Загорье. Вот этот город, вот эта улица, вот это здание. Через четырнадцать лет.

Он оглядел ряды.

— Вам сейчас от девятнадцати до двадцати четырёх. Через четырнадцать лет вам будет от тридцати трёх до тридцати восьми, и вы будете единственными в известном мире людьми, обученными тому, о чём идёт речь. Не старшими. Не помощниками при старших. Единственными. — Он помолчал. — И вот тогда, магистр Ортен, вопрос будет стоять не о том, соответствовало ли моё преподавание постановлению. Вопрос будет стоять о том, успел ли я вас чему-нибудь научить.

Ортен стоял, опираясь левой рукой о спинку передней скамьи.

— Дренмор, — сказал он. — Вы отдаёте себе отчёт, что сейчас применили самый скверный довод из всех существующих?

— Отдаю.

— «Обстоятельства чрезвычайны, а потому правила отменяются», — сказал Ортен. — Я слышал эту фразу трижды за свою жизнь, и всякий раз обстоятельства действительно были чрезвычайны, и всякий раз она обходилась дороже, чем сами обстоятельства.

— Знаю, — сказал Александр. — Поэтому я и не прошу отменять правило. Я прошу его изменить — открыто, через Совет, с разбирательством и с моим отстранением на время разбирательства, если понадобится. Но начинать я буду сегодня, потому что комиссия соберётся к осени, а осень — это ещё шесть месяцев из четырнадцати лет.

Ортен долго молчал.

Потом сел.

— Я подам запрос, — сказал он. — Сегодня же вечером, как вы и предположили.

— Разумеется.

— И я останусь на занятии.

— Разумеется, — сказал Александр. — магистр, из всех присутствующих вы единственный, чьё присутствие мне сегодня необходимо.

Занятие продолжалось три часа вместо положенных двух.

Александр начал не с плетений.

Он начал с того, о чём за минувший год не сказал ни разу и о чём, до этого вечера не собирался говорить вовсе.

— Прежде чем вы возьмёте это в руки, — сказал он, — я расскажу вам, что произошло год назад в ущелье у Медвежьего брода. Не то, что об этом пишут. Что произошло.

И рассказал.

Он рассказал про двести девять связанных пленных, про пятнадцать Пепельных Клинков, шедших к колонне, и про двести шагов расстояния. Про шесть ударов сердца. Про то, что он не помнит, как это сделал, — руки помнили, а он нет. Про ровный круг в сто двадцать шагов и про то, что в круг попали четверо долинных ополченцев, шедших правее, и одиннадцать пленных из первой связки. Про женщину в третьем ряду, которая не упала, потому что была связана с мёртвыми.

Он рассказал про то, что его имя внесено в поимённую книгу Тенистой долины в графу «кем убит», и что внесено оно по его собственному требованию.

Аудитория молчала.

— Теперь причина, по которой я вам это рассказываю, — сказал он. — Она не в назидании. Назидание — вещь бесполезная: всякий из вас сейчас думает, что с ним такого не случится, и я на вашем месте думал бы то же самое. — Он оглядел ряды. — Причина в другом. Я применил тогда приём, которого не понимал. Он был у меня в руках, он сработал, и он оказался тем самым, от чего тысячу лет назад погиб мир. И я узнал об этом от постороннего человека, который случайно оказался рядом и случайно видел то же самое девятьсот лет назад.

Он положил ладонь на кафедру.

— Так вот, второй курс существует ради одного. Чтобы через четырнадцать лет, когда вам придётся это применять, — а вам придётся, — вы применяли то, устройство чего можете изложить вслух. Всё остальное я вам запрещаю категорически и, поверьте, найду способ проверить.

Лиэн Сорд подняла руку.

— Магистр Дренмор. А если у нас будет только то, устройство чего мы не понимаем?

«Хороший вопрос, — заметил Хранитель. — лучший из всех, что тебе задавали в этой аудитории за два года».

— Тогда, — сказал Александр, — вы не будете этого применять и, вероятнее всего, погибнете. И, госпожа Сорд, я не намерен смягчать этот ответ, потому что смягчённый он превратится в лазейку, а лазейкой рано или поздно воспользуются.

После занятия Ортен догнал его в галерее.

— Дренмор.

— Магистр.

Старик остановился, придерживая левой рукой полу мантии.

— Тот приём, — сказал он. — В ущелье. Вы сказали, что он тот же, от которого погиб мир.

— Так свидетельствовал основатель Ордена Пепла, видевший последствия обоих. Иных свидетельств нет.

— И вы намерены учить их этому?

— Нет, — сказал Александр. — Этому я не намерен учить никого и никогда. Я намерен учить их тому, как это распознать в чужих руках и как этому помешать.

Ортен смотрел на него снизу вверх.

— В чьих чужих руках?

Ах.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — данный человек за одну секунду задал вопрос, к которому мы с тобой подбирались год».

— Магистр, — сказал Александр после паузы. — вы только что сформулировали то, чего я весь год избегал формулировать.

— Тогда позвольте, я доформулирую, — сказал Ортен. — Вы полагаете, что тысячу лет назад мир погиб от этого приёма. Приём был в ваших руках. Вы не помните того года. — Он выждал. — Дренмор, а вам не приходило в голову, что вопрос «кто это сделал» и вопрос «в чьих руках это будет через четырнадцать лет» могут иметь один и тот же ответ?

Александр молчал.

— Я подал запрос, — сказал Ортен, — и не отзову его. Но я хочу, чтобы вы знали, отчего именно я его подал. Не оттого, что вы нарушили постановление, — постановления я нарушал сам, дважды. — Он повернулся, чтобы уйти. — Оттого, что вы единственный человек в этом городе, за которым некому присматривать. У всякого магистра есть Совет, у Совета — устав, у короля — казна и соседи. А у вас, Дренмор, есть только вы, и вы, к вашей чести, это понимаете лучше меня.

Он отошёл на несколько шагов и обернулся.

— И потому я буду ходить на все ваши занятия, — сказал он. — Все четырнадцать лет, если проживу.

Второе занятие он провёл на следующий вечер и провёл его иначе, чем собирался.

Он пришёл в аудиторию без бумаг.

— Тетради закройте, — сказал он. — Сегодня записывать нечего, и, полагаю, сегодня будет полезнее, если вы не станете прятаться за пером.

Десять человек закрыли тетради. Ортен, помедлив, закрыл свою тоже.

— Вопрос, — сказал Александр. — Вчера госпожа Сорд спросила, что делать, если в руках окажется только то, устройство чего не понимаешь. Я ответил: не применять и погибнуть. Ответ верный и совершенно бесполезный, и я всю ночь думал, отчего он бесполезен.

Он прошёлся вдоль кафедры.

— Он бесполезен оттого, что описывает выбор из двух, а выбор из двух в нашем деле не встречается никогда. Я приведу вам подлинный случай. Год назад в ущелье у меня было двести шагов, шесть ударов сердца и вот такой набор возможностей. — Он поднял руку и стал загибать пальцы. — Первое: не делать ничего и смотреть, как пятнадцать обученных людей режут двести девять связанных. Второе: бежать туда и успеть к третьей связке, потому что двести шагов по пеплу — это двадцать два удара сердца, я мерил после. Третье: ударить тем, что я понимал, — накрыло бы четверых, прочие одиннадцать успели бы. Четвёртое: то, что я сделал.

Он опустил руку.

— Заметьте: скверны все четыре. Не «одно хорошее и три дурных» — четыре дурных, различающихся только тем, кто именно ляжет. Так вот, первое, чему я обязан вас научить на

втором курсе, — считать все четыре, а не два. Человек, видящий два выхода, всегда выбирает из них худший, потому что второй ему подсказывает страх.

— Магистр Дренмор, — подал голос Виктор. — А если считать некогда?

— Считать надо было заранее, — сказал Александр. — Виктор, всякий, кто полагает, что решение принимается в те шесть ударов сердца, ошибается. В те шесть ударов человек достаёт готовое. Что успел заготовить — то и достанет. — Он оглядел аудиторию. — Поэтому весь этот год мы будем заниматься тем, что покажется вам чрезвычайно скучным. Мы будем разбирать положения. Не плетения — положения. Двести шагов, шесть ударов, пятнадцать и двести девять. Тридцать шагов, один удар, двое и один. И так до тех пор, покуда у вас в голове не заведётся запас.

Он сел на край кафедры — впервые за два года.

— И, господа, ещё одно, поскольку я обещал вчера говорить прямо. Заготовленное решение имеет одно свойство, о котором не пишут в наставлениях: оно срабатывает само. Не тогда, когда вы решите его применить, а тогда, когда положение совпадёт с заготовкой. — Он помолчал. — Я в ущелье не принимал решения. Я его достал. И это, полагаю, единственная часть той истории, которую я до сих пор не в состоянии себе простить.

В третьем ряду у прохода магистр Ортен очень медленно открыл тетрадь и левой рукой записал первую строку.

Вечером Александр сидел в отведённых ему покоях на академическом подворье и не мог заставить себя работать.

«— сказал Хранитель, — тебя занимает вопрос Ортена».

старина. он задал его вслух, а я весь год носил его в голове несформулированным, и это, как выяснилось, две совершенно разные тяжести.

«Изложи».

Изволь. — Александр отодвинул бумаги. — Первое: тысячу лет назад мир погиб от приёма, которым я владею. Второе: я не помню того года, и не помню потому, что сам себе это устроил. Третье: я оставил приказ не давать себе вспомнить. Четвёртое: восьмой сказал семерым «он не виноват, он единственный, кто пытался», и это единственное свидетельство в мою пользу, и оно получено через девятьсот двенадцать лет из вторых уст от человека, которого нет.

«И?»

И вот теперь пятое, — сказал Александр. — Печать рвётся. Через четырнадцать лет всё повторится. И единственный человек, у которого есть навык, необходимый для того, чтобы это остановить, — это тот же самый человек, у которого есть навык, которым это, возможно, было начато.

Хранитель молчал.

Старина, скажи мне честно. Тебе не приходило в голову, что приказ, который ты держишь, может быть не про стыд и не про безопасность памяти? Что он может быть про меня?

«Приходило».

Когда?

«Позапрошлой ночью, — сказал Хранитель. — Когда ты стоял в дверях детской пятую ночь подряд и смотрел на её руку».

Он помолчал.

«Александр, я обязан сказать тебе ещё одно, и, я обдумывал это две ночи. Формулировка приказа заканчивается словами „если ты когда-нибудь встретишь меня, а я буду помнить, — беги”».

Помню, старина.

«Так вот. Я год полагал, что это сказано мне на случай, если ты вспомнишь сам. — Хранитель сделал паузу. — А позапрошлой ночью подумал: а что, если это сказано мне на случай, если я встречу не тебя?»

Александр очень медленно поднял голову.

Поясни.

«Тот, кто отдал приказ, — сказал Хранитель, — говорил о себе в третьем лице: „если я вернусь и не буду помнить". Он предполагал, что вернётся. Он не предполагал, что вернётся один раз».

Совет собрался через три дня и рассмотрел запрос магистра Далля о совмещении должностей — тот самый, зимний, подписанный семнадцатью.

Запрос отклонили двадцатью двумя голосами.

Запрос магистра Ортена — о выходе преподавателя закрытого курса за пределы постановления — приняли к рассмотрению единогласно и передали в комиссию, назначив срок доклада на первое число осеннего месяца.

Магистр Стейн, объявив это, добавил от себя:

— И я прошу собрание отметить в протоколе, что запрос подан лицом, присутствующим на занятиях по постановлению этого же Совета и обладающим наилучшей осведомлённостью о существе дела. за минувшие двести лет мы не получали более добросовестного доноса.

Из зала засмеялись — впервые за заседание.

Ортен не улыбнулся.

А через полчаса, когда собрание уже расходилось, в дверях зала появился человек в коронной ливрее, и Александр по одному тому, как он вошёл — не поклонившись, не дожидаясь позволения, — понял, что четыре спокойных дня кончились.

— Господин Дренмор. От барона Ласка. Велено немедленно.

Александр сломал печать.

Внутри было пять строк.

«Немедленно в Ольховый двор. Его величество выехал туда сегодня утром, отменив приём послов.

Стылые Дворы. Сто десять вёрст от линии. Сорок один двор.

Все живы.

Никто не помнит зимы.

Х.Л.»

«— сказал Хранитель, — магистр Морвейн был прав дважды за один месяц».

старина. — Александр аккуратно сложил лист. — Одиннадцать лет до Стылых Дворов, посчитал он. я нахожу совершенно невыносимым, что оно управилось за одиннадцать недель.

Глава 3. Арифметика конца

Стылые Дворы стояли на четыре дня пути севернее последней ардвейнской заставы, в землях, которые ни одна корона всерьёз не считала своими, — сорок один двор, две мельницы, часовня без причта и общинный выпас, на котором к маю уже стояла трава.

Александр приехал туда на девятый день после отъезда из Кайрана и провёл в селении шесть суток.

Он ехал не за тем, чтобы увидеть: увиденное он представлял себе достаточно точно по Малым Вязам.

Он ехал считать.

С ним были магистр Морвейн, коронный писарь Ирвин Кросс, Кассандра и восемь конных Северной ведомости, которых Ласк придал с формулировкой «для сохранности расчётов».

Работали по форме, разработанной Морвейном за зиму и отпечатанной в коронной палате в двухстах экземплярах: опросный лист в четырнадцать граф, по одному на человека, с обязательным заполнением графы «отвечал ли опрашиваемый охотно».

Опросили девяносто семь человек из ста четырёх.

Семерых опросить не удалось: четверо детей младше двух лет, глухой старик и двое пастухов, ушедших с отарой и не вернувшихся к концу работ.

Результат был следующий.

Все девяносто семь не помнили отрезка с двадцать девятого ноября по одиннадцатое марта. Сто три дня.

За эти сто три дня в селении прошла зима: скотина была прокормлена, солома израсходована на две трети, дрова выбраны из двух поленниц из трёх, в четырёх дворах чинилась упряжь, а в одном — перекладывалась печь, и работа была брошена на середине, что заметил не Морвейн, а Кассандра.

Родилось двое детей.

Умер один старик, и его похоронили, и могила была на кладбище, и крест на ней стоял, и никто не мог сказать, кто его ставил.

— Дренмор, — сказала Кассандра на третий день. — Граница круглая.

— Уже?

— Уже. — Она села на завалинку и стала счищать с сапог налипшую грязь. — Полторы версты семьсот шагов поперёк. Я обошла кругом за день. Трава ниже на локоть, как в Малых Вязах, только тут заметнее — тут выпас, тут видно.

— Центр?

— Вот, — сказала Кассандра. — Вот за этим я и пришла.

Она перестала счищать грязь.

— В Малых Вязах центр приходился на часовню, — сказала она. — Я тогда решила: часовня и часовня, самое приметное место в селе. А тут центр — не часовня. Тут центр в двухстах шагах от околицы, на выпасе, где ничего нет.

— Совсем ничего?

— Совсем, — сказала Кассандра. — Я там всё облазила на четвереньках. Ни ямы, ни камня, ни кострища. Трава как трава. — Она подняла глаза. — Дренмор, я это к чему. Оно открылось не в селе. Оно открылось рядом с селом и накрыло его краем.

Морвейн, услышав это, отложил перо и сидел неподвижно, наверное, минуту.

Потом попросил показать.

Они втроём отшагали двести шагов от околицы и встали посреди пустого выпаса, на ровном месте, где действительно не было ничего, кроме травы и одиноко торчащего репейника.

Морвейн обошёл это место трижды.

— Юный наследник, — сказал он. — Я обязан задать вам вопрос, и он покажется вам глупым.

— Задавайте.

— Вы что-нибудь чувствуете?

Александр помолчал.

«— заметил Хранитель, — тебе следует ответить честно, а не так, чтобы магистру было спокойнее».

— Нет, — сказал Александр. — Ничего. И, магистр, это меня тревожит значительно сильнее, чем если бы я чувствовал. Я стою в центре круга, накрывшего сто четыре человека три месяца назад, и не ощущаю ни малейшего следа. А след должен быть. Всякое воздействие такого размера оставляет за собой хотя бы истощение почвы.

— Трава ниже, — заметила Кассандра.

— Трава ниже на локоть, — согласился Александр. — По окружности. А в центре она обыкновенная. — Он оглядел выпас. — Иными словами, здесь ничего не произошло. Произошло там, где теперь трава ниже, — то есть по краю. По границе.

Морвейн замер.

— Юный наследник. Вы сейчас сказали, что работа была не в центре, а по контуру.

— да.

— Но ведь это же… — Морвейн сорвал очки. — Это же обвод! Это то же самое, что делает всякий из нас, ставя защитное плетение вокруг дома! Мы не заполняем объём, мы очерчиваем границу, а внутри ничего не происходит, потому что внутри — просто «внутри»!

Он вцепился в собственные волосы.

— Юный наследник, если это обвод, то у него есть замыкание. Всякий обвод где-нибудь замыкается — там, где начали и кончили. И в этой точке всегда остаётся след, всегда, это невозможно скрыть, я тридцать лет…

— Ищите, — сказал Александр.

Замыкание нашли на пятый день.

Нашёл его не Морвейн и не Кассандра, а один из конных Северной ведомости, восемнадцатилетний парень по имени Дарко, посланный обходить границу с мерным шнуром и приказом отмечать колышками всякое место, где трава ведёт себя не так.

Он воткнул сорок один колышек, из которых сорок оказались вздором.

Сорок первый стоял на северной стороне круга, у самой опушки, и в этом месте трава не была ниже.

Она была выше.

Полоса шириной в три шага и длиной шагов в двенадцать, где трава поднялась чуть не по колено, — сочная, тёмная, какая бывает на месте старого кострища или там, где годами стояла скотина.

— Юный наследник, — сказал Морвейн очень тихо, стоя над этой полосой на четвереньках. — Здесь избыток.

— Чего избыток?

— Всего, — сказал Морвейн. — Юный наследник, всякое плетение имеет остаток. Когда мы очерчиваем контур, мы тратим, и по контуру остаётся истощение — вот оно, вокруг, трава ниже. А в точке замыкания остаётся то, что не потратилось. Излишек. — Он поднял голову. — Это его излишек. Тот, кто это делал, ошибся в расчёте и вложил больше, чем требовалось.

Он сел прямо на землю.

— Юный наследник, — сказал он. — Вы понимаете, что мы только что установили?

«— сказал Хранитель, и в его голосе было нечто, чего Александр не слышал с прошлого года, — тебе следует произнести это самому. Магистр сейчас скажет мягче».

— Мы установили, — сказал Александр, — что это делает не явление.

— Мы установили, что это делает практик, — сказал Морвейн.

Шестой день Александр потратил на то, ради чего, и приехал, — и потратил его не на измерения.

Он ходил по дворам.

Он заходил в избы, садился, брал кружку и разговаривал — про овёс, про упряжь, про то, почём нынче соль у прасолов, — и все шесть часов, что это продолжалось, магистр Морвейн с двумя опросными листами ходил за ним следом и не понимал ровным счётом ничего.

— Юный наследник, — не выдержал он на четвёртом дворе. — Мы же всё выяснили. Девяносто семь опросов, четырнадцать граф.

— Мы выяснили, чего они не помнят, магистр, — сказал Александр. — Я хочу знать, как они живут.

— Но какое это имеет…

— Прямое, — сказал Александр. — Магистр, в Малых Вязах вы записали, что беспокойства не выказал ни один пострадавший, и это, полагаю, самая важная строка во всём вашем отчёте. Так вот, я хочу понять, отчего.

К вечеру он понял и, поняв, пожалел.

Стылые Дворы жили превосходно.

Не «неплохо для селения, потерявшего зиму», а именно превосходно — лучше, чем жили соседние, не потерявшие ничего. За сто три дня, которых никто не помнил, скотина была ухожена, дрова выбраны ровно, упряжь починена в четырёх дворах, а печь в пятом переложена так, что печник из ближней слободы, приглашённый поглядеть, сплюнул и сказал, что сам бы так не сложил.

— Дренмор, — сказала Кассандра, когда он изложил это вечером. — Вы хотите сказать, что они всю зиму работали?

— Я хочу сказать, что всю зиму работа шла, — поправил Александр. — Кто её делал — вопрос отдельный, и я не берусь на него отвечать.

— Так они же сами. Больше некому.

— Кассандра, — сказал Александр. — Печь переложена лучше, чем умеет здешний печник. Упряжь починена в четырёх дворах одинаково — я смотрел, там один и тот же шов, а чинили, по идее, четверо разных мужиков. — Он отставил кружку. — И знаешь, что самое неудобное? Крест на могиле старика вытесан не здешним топором. Я его снял и осмотрел. У здешних топор с завалом вправо, у всех, потому что кузнец один. А этот тесали ровно.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — тебе следует сформулировать вывод, а не оставлять его висеть».

старина, я предпочёл бы оставить его висеть ещё сутки.

«Александр».

Хорошо. — Он смотрел на огонь. — Внутри контура кто-то жил и работал. Не эти сто четыре человека — кто-то. Он прокормил скотину, выбрал дрова, починил упряжь, переложил печь и похоронил старика, потому что старик умер, а хоронить было надо.

«И?»

И, вот что мне не даёт покоя. Он ставил крест. — Александр помолчал. — Тот, кто ставит крест над чужим стариком в селении, где все спят, не есть стихия и не есть враг. я не знаю, что он такое, но крестов над мертвецами враги не ставят.

Ольховый двор Александр застал в состоянии, которого не видел ни в один из четырёх предыдущих приездов.

Зимняя резиденция была набита.

Во дворе стояли восемь чужих карет, у конюшен спали вповалку кучера, в трапезной флигеля заседала какая-то комиссия, а по коридорам сновали писари с папками, и ни один из них не поднимал головы.

— Двадцать один день, — сказал Ласк, встретив его у крыльца. — Его величество здесь двадцать один день и за это время не был в столице ни разу. Канцлер трижды присылал напоминание о посольстве Приморских городов. Его величество трижды ответил, что посольство подождёт.

— Что происходит, барон?

— Происходит то, господин Дренмор, что вы называете арифметикой, — сказал Ласк. — Только считают её теперь семьдесят человек вместо вашего магистра.

Приём состоялся в тот же вечер и продолжался шесть часов.

Кроме короля и Ласка в кабинете были канцлер Дориан Вельт, двое военных, которых Александр не знал, и человек лет шестидесяти в мещанском платье, представленный как «мастер Ольвен, счётная палата».

Александр докладывал два часа.

Он изложил всё: промеры, кривую Морвейна с обеими оговорками, семь одиночных случаев Кассандры, Малые Вязы, Стылые Дворы, круглую границу, центр на пустом выпасе и полосу высокой травы в точке замыкания.

— Итог, государь, — сказал он. — Первое: сроки, названные зимой, недействительны. Мой магистр считал по границе, а граница есть след, а не движение. Второе: селения накрываются целиком, за один раз, и накрываются в тысяче вёрст от Тишины. Третье, и я прошу отнестись к этому как к предположению, а не как к установленному факту: судя по точке замыкания, это работа практика, а не стихия.

В кабинете было очень тихо.

— Мастер Ольвен, — сказал король.

Человек в мещанском платье поднялся, и Александр отметил, что он поднялся с бумагами, разложенными по трём стопкам заранее.

— Государь. Господа. — Голос у него оказался тусклый и до неприличия спокойный. — Я по казне, и потому скажу только про казну.

Он взял верхний лист.

— Северная ведомость получила за минувшие пять месяцев сорок одно сообщение. Из них подтверждено четырнадцать: два селения — Малые Вязы и Стылые Дворы, и двенадцать одиночных случаев. Не подтверждено двадцать семь, из которых, по моему разумению, восемь ещё подтвердятся.

Он взял второй лист.

— Теперь про то, чего никто не считал. Из четырнадцати подтверждённых случаев девять произошли в местах, через которые идёт торговый путь, и пять — в стороне. — Он поднял глаза. — Я поднял таможенные книги за пять месяцев. Оборот по северному тракту упал на четверть. Не оттого, что дороги хуже: дороги те же. Оттого, что купцы перестали ходить.

— Это слухи, — сказал канцлер.

— Это, ваша светлость, четверть оборота, — невозмутимо отозвался мастер Ольвен. — Слухи — это когда говорят. А когда перестают возить — это уже не слухи, это убыток.

Он взял третий лист.

— И последнее, государь. Мне велено было посчитать, во что обойдётся вывод людей из северных волостей, буде такое решение примется. — Он положил лист на стол. — Я посчитал. Восемнадцать волостей, сорок одна тысяча душ, вместе со скотом, зерном и утварью. четыре с половиной года и вся казна, включая недоимки за три года вперёд.

— А без утвари?

— Без утвари два года, — сказал мастер Ольвен. — И бунт на второй год, потому что мужик, у которого забрали двор и не забрали двор соседа, идёт жечь соседа, а не переселяться.

— Итак, — сказал Ансельм IV, когда все замолчали. — Подведём.

Он встал и подошёл к карте — той самой, с пометками, которую Александр видел здесь два года назад.

— Первое. Мы не знаем, сколько у нас времени. Год назад было триста лет, зимой стало четырнадцать, сегодня господин Дренмор говорит, что и четырнадцать посчитаны неверно. Я не в претензии — я понимаю, что считают, как умеют. Но планировать по этому нельзя.

Он взял со стола перо и провёл им по северному краю карты.

— Второе. Вывести людей мы не можем: у меня нет четырёх лет и нет казны. Могу вывести три волости из восемнадцати, и то не до конца.

— Государь, — начал канцлер.

— Дориан, помолчи. — Король не обернулся. — Третье. Оно берёт по одному человеку за тысячу двести вёрст отсюда. Стало быть, граница, эвакуация и вся моя северная линия обороны есть предмет, не имеющий отношения к делу. Мы охраняем ворота у дома, где нет стен.

Он положил перо.

— И четвёртое, — сказал Ансельм. — Господин Дренмор говорит, что это работа практика.

Он обернулся.

— Дренмор. Скажите мне прямо, при всех, и не смягчайте. Есть ли на свете человек, способный такое сделать?

«— очень тихо произнёс Хранитель, — тебе следует ответить точно, а не честно. Это разные вещи, и сегодня разница существенна».

старина, сегодня они совпадают, и в этом вся беда.

— Да, государь, — сказал Александр. — Один. Я.

В кабинете никто не пошевелился.

— И, поскольку я обязан договорить до конца, — продолжил Александр ровно, — прибавлю следующее. Я не делал этого и не помню, чтобы делал. У меня из памяти вырезан один год из тысячи. Вырезал его я сам, и я сам оставил распоряжение никогда мне его не возвращать. Об этом знают четверо: барон Ласк, магистр Морвейн, моя жена и покойный Верховный Настоятель Ордена Пепла, чьи показания в четырёх томах лежат у вас в коронной палате.

— Вы понимаете, — очень медленно произнёс канцлер Вельт, — что сейчас сказали?

— Понимаю значительно лучше вашего, ваша светлость, — сказал Александр. — Я это соображение обдумываю пятый месяц кряду. я обдумывал его и на пути сюда.

Король долго молчал.

— Ласк, — сказал он наконец. — Отберите у него печать.

Ласк поднялся.

«— сказал Хранитель, — ты предвидел это с четверга».

Со вторника, старина.

Александр снял с пояса овал тёмного серебра с ольховым листом и положил на стол.

— Теперь слушайте, зачем я это сделал, — сказал Ансельм, — потому что я вижу по вашему лицу, что вы решили, будто вас отстранили.

Он подошёл и взял печать.

— Господин Дренмор, вы только что при семи свидетелях объявили себя единственным на свете, кто способен это сделать. Через неделю об этом будет знать столица, потому что из семи человек в этой комнате как минимум двое проговорятся, и я даже знаю которые. — Он не стал уточнять которые. — Так вот, когда об этом заговорят, вас станут искать. И искать вас будут, как ищут преступника, а не как ищут поверенного.

Он положил печать в ящик стола.

— Поэтому королевский поверенный по делам Ордена Пепла с сегодняшнего дня отстранён от должности по подозрению и находится под надзором коронной палаты. Надзирающий — барон Ласк. — Ансельм посмотрел на Александра. — А что вы там будете делать под над-

зором и куда вас барон Ласк повезёт — это, полагаю, дело барона Ласка, и я в него вникать не намерен.

«— заметил Хранитель после короткой паузы, — данный монарх нравится мне значительно больше, чем это допустимо».

Согласен, старина. впервые за тысячу лет меня арестовали ради моего же удобства.

Ласк проводил его до конюшен уже за полночь.

— Господин Дренмор. Два слова не для протокола.

— Слушаю, барон.

— Я семнадцать лет служу в дознании, — сказал Ласк, — и за это время трижды слышал, как человек сам объявляет себя единственным, кто мог совершить то, за что его ищут. Все три раза человек был невиновен.

— барон, это не столь утешительно, как вам кажется.

— Я не утешаю, — сказал Ласк. — Я говорю к тому, что все три раза настоящий виновник был из тех, кому такое признание было выгодно. — Он остановился. — Дренмор. Кому выгодно, чтобы вы сейчас считали себя виноватым?

Александр остановился тоже.

«Ах», — сказал Хранитель.

старина.

— Барон, — сказал Александр очень медленно. — Вы сейчас задали второй по важности вопрос, заданный мне за последний год.

— А первый?

— А первый задал магистр Ортен девять дней назад. — Александр смотрел мимо него, в темноту двора. — Он спросил: не имеют ли вопросы «кто это сделал тогда» и «в чьих руках это окажется теперь» один и тот же ответ.

— И что вы ответили?

— Ничего, — сказал Александр. — Я до сих пор не ответил.

Он взял повод.

— А ваш вопрос, барон, я, полагаю, теперь буду обдумывать всю дорогу до дома. за минувшую тысячу лет я редко бывал столь недоволен собственной сообразительностью.

— Отчего?

— Оттого, — сказал Александр, садясь в седло, — что мне пятый месяц подсовывают ровно то, что нужно, чтобы я пришёл к нужному выводу. Промеры. Замыкание с избытком. Даже слова покойного Настоятеля. Всё сходится, барон. Всё сходится идеально и в одну сторону.

Он подобрал повод.

— А за тысячу лет я усвоил: если всё сходится идеально, значит, кто-то сводил.

Глава 4. Малые Вязы, второй раз

Известие догнало их на второй день пути от Ольхового двора.

Гонец шёл встречным ходом, с юга, и вёз пакет не Северной ведомости, а загорского епископата — с чужой печатью, чужим сургучом и припиской по-загорски, которую пришлось переводить Кроссу, знавшему наречие по службе.

Приписка была короткая.

«Селение Плешаны, приход Святого Ниса. Девяносто дворов. Все живы. Никто не помнит с середины февраля».

— Плешаны, — сказал Кросс, разворачивая карту прямо на луке седла. — Загорье, север Селенской волости. От Малых Вязов… — Он провёл пальцем. — Сорок вёрст. Может, сорок две.

«— сказал Хранитель, — тебе следует немедленно спросить о размере».

— Что про размер? — спросил Александр.

Кросс перечёл пакет.

— Не указано, господин Дренмор. Указано только, что «поле стоит нежатое, а люди здоровы».

Плешаны стояли в предгорьях — большое, богатое, разбросанное по трём холмам село, с каменной церковью и черепичной крышей на доме старосты, что в Загорье означало примерно то же, что в Ардвейне золочёный флюгер.

Они пришли туда на восьмой день.

Кассандра ушла обходить границу в первый же час, ещё до того, как Морвейн разложил свои опросные листы, и вернулась к вечеру следующего дня, злая и грязная по пояс.

— Три версты сто шагов, — сказала она, садясь прямо на пол в отведённой им горнице. — Дренмор, я мерила дважды.

Морвейн поднял голову от бумаг.

— В Стылых Дворах было полторы версты семьсот шагов.

— Я помню, сколько было в Стылых Дворах, — сказала Кассандра. — В Малых Вязах было полторы версты двести. Тут три сто.

— Вдвое, — сказал Морвейн.

— Вдвое, — согласилась Кассандра.

«— заметил Хранитель, — тебе следует уточнить, вдвое ли по поперечнику или вдвое по площади, поскольку это совершенно разные вещи и вторая значительно хуже».

старина, магистр уже считает.

Морвейн считал восемь минут.

— Юный наследник, — сказал он, откладывая перо. — Поперечник вдвое. Площадь — вчетверо.

Опросили двести одиннадцать человек.

Работа заняла девять дней вместо шести и шла тяжелее, чем в Стылых Дворах, по причине, которую Александр не предусмотрел: Плешаны были богатым селом, а богатое село значительно хуже отвечает на вопросы, чем бедное.

Мужики отвечали осторожно. Староста трижды справлялся, не пойдёт ли из этого податная переоценка. Приходский священник, отец Виллем, поначалу вообще отказался допускать чужих к прихожанам и уступил только после того, как Морвейн предъявил ему форму опроса и терпеливо разобрал с ним все четырнадцать граф.

Результат совпал с прежними до неприличия.

Все двести одиннадцать не помнили отрезка с двенадцатого февраля по двадцать девятое апреля. Семьдесят семь дней.

За эти семьдесят семь дней в селе прошла весна: скотину вывели на выпас, отсеялись, починили мост через ручей и заложили новый сруб под общинный амбар.

Умерло четверо. Все четверо были похоронены, и все четыре креста стояли, и никто не мог сказать, кто их ставил.

Родилось трое.

— Юный наследник, — сказал Морвейн на седьмой день, — я обязан отметить одну разницу, и она мне не нравится.

— Отмечайте.

— В Стылых Дворах отсеяться не успели: там сто три дня зимы, там и не полагалось. — Морвейн перелистнул. — Здесь семьдесят семь дней, и они пришлись на весну. И, юный наследник, они отсеялись. Все девяносто дворов. Ровно, в срок, с соблюдением очерёдности по полям, а очерёдность в Загорье, я справлялся, устанавливается общинным сходом.

— Стало быть, был сход.

— Стало быть, был сход, — сказал Морвейн. — А сход, юный наследник, это не привычка и не распорядок. Это спор. Спор двадцати мужиков о том, кому пахать первым.

Он снял очки.

— Кто-то там спорил.

Крест над одной из четырёх могил Александр осматривал полтора часа.

Он делал это один, на кладбище, к вечеру, и делал методично: снял, обмерил, осмотрел на просвет срез, потом ушёл в кузню и попросил показать все топоры, какие есть в селе.

Топоров нашлось одиннадцать.

Восемь были загорские, с характерным широким лезвием. Три — ардвейнские, привозные, с завалом влево.

Ни один не давал такого следа, как на кресте.

— Дренмор, — сказала Кассандра, когда он вернулся. — Опять ровно тесали?

— Опять, — сказал Александр. — И, Кассандра, теперь я знаю ещё одну вещь. Тот же самый.

Она подняла голову.

— Как определили?

— На кресте в Стылых Дворах, — сказал Александр, — с левой стороны от перекрестья идёт шесть тёсаных граней, и шестая срезана короче прочих, потому что тесавший в этом месте перехватил инструмент. Я это тогда отметил и не придал значения. — Он положил на стол снятый мерный шнур с узелками. — Здесь то же самое. Шесть граней, шестая короче, перехват в том же месте.

Морвейн очень медленно отложил перо.

— Юный наследник. Восемьсот сорок вёрст между сёлами.

— Восемьсот восемьдесят, — сказал Александр. — И четыре месяца.

Точку замыкания искали пять дней и не нашли.

Кассандра обошла контур трижды. Восемь человек Северной ведомости, приданных ей в помощь, воткнули семьдесят четыре колышка, из которых ни один не дал ничего.

На шестой день она пришла к Александру и села напротив с тем выражением лица, которое он за три года научился читать безошибочно.

— Дренмор, я ошибалась.

— В чём?

— В траве. — Она положила на стол горсть срезанных стеблей, разложенных в три пучка. — Я год считала, что трава по контуру ниже. Это неправда. Она не ниже. Она моложе.

Александр придвинул пучки.

— Поясни.

— Вот. — Кассандра ткнула в первый. — Это с выпаса, за версту от контура. Стебель толстый, у корня старая ветошь прошлогодняя, узлов четыре. Обычная трава, третий-четвёртый год.

Она ткнула во второй.

— Это с контура. Стебель тонкий, ветоши нет вовсе, узла два. Это первогодка, Дренмор. Молодая трава на месте старого дёрна.

— А третий?

— А третий, — сказала Кассандра, — я взяла в Стылых Дворах перед отъездом. Смотрите сами.

Третий пучок был толще второго и тоньше первого. Ветошь была, но мало.

— Второй год, — сказал Александр.

— Второй год, — подтвердила Кассандра. — Дренмор, до меня доходило три недели, и я, злая на себя, потому что следопыт я или кто. Трава на контуре не «ниже» — она начинает заново. И, стало быть, по ней можно сказать, сколько кругу лет.

«— сказал Хранитель, и в его голосе появилось нечто, чего Александр не слышал давно, — тебе следует немедленно осознать, что она сейчас предложила».

Осознал, старина.

— Кассандра, — очень медленно сказал Александр. — Ты понимаешь, что это означает?

— Понимаю, — сказала она. — Это означает, что я могу искать старые.

Искали одиннадцать дней.

Кассандра взяла шестерых — троих из ведомости, двоих местных пастухов и Кросса, который увязался сам и впоследствии внёс в журнал одиннадцать строк подряд, начинавшихся словами «поднадзорный отсутствовал, находился в поле», — и работала по системе, которую сама же и придумала за один вечер.

Она не искала круги.

Она искала дороги.

— Двадцать три подтверждённых случая, все на путях, — сказала она. — Стало быть, оно ходит по дорогам. Стало быть, старые тоже на дорогах. Стало быть, я иду по дороге и смотрю траву поперёк.

За одиннадцать дней они прошли сто девяносто вёрст по трём трактам.

Нашли девять.

Из них четыре Кассандра забраковала сама, съездив в ближайшие сёла и выяснив, что там был пожар, выгон или старая гарь.

Пять остались.

— Дренмор, — сказала она вечером одиннадцатого дня, разложив на столе пять пучков травы, помеченных бирками. — Смотрите по возрасту.

Первый пучок — четвёртый год.

Второй — примерно седьмой; Кассандра оговорилась, что за седьмым годом её глазу трудно.

Третий, четвёртый и пятый она положила отдельно.

— Вот эти три, — сказала она, — я не берусь считать. Там уже не трава, там кустарник по контуру, а по кустарнику я не умею. Тут вам ботаник нужен, а не следопыт.

Морвейн взял третий пучок и просидел над ним до полуночи, а потом ушёл в поле и вернулся под утро с целым ворохом веток.

— Юный наследник, — сказал он. — Ольха.

— И что?

— Ольха по контуру, — сказал Морвейн. — Она пошла на голом месте, вся одного возраста, ровным кольцом. Я срезал восемь стволов и посчитал кольца.

— Сколько?

Морвейн сел.

— На третьем — двадцать два, — сказал он. — На четвёртом — сорок один. На пятом, юный наследник, — сто девять.

В горнице долго молчали.

— Стало быть, — сказал наконец Кросс, отложив журнал, — оно было всегда.

— Оно было по меньшей мере сто девять лет назад в ста девяноста верстах отсюда, — поправил Морвейн. — «Всегда» мы не установили и, полагаю, не установим никогда.

— Магистр, — сказала Кассандра. — Не цепляйтесь к словам. Я за одиннадцать дней на трёх трактах нашла пять. Пять на сто девяносто вёрст. А трактов в одном Загорье восемнадцать.

«— сказал Хранитель, — тебе следует произвести очевидное умножение и не произносить результат вслух».

старина, я произнесу.

— Пять на сто девяносто вёрст, — сказал Александр. — Округляя — один на сорок. В одном Загорье трактов на три тысячи вёрст. В Ардвейне — вчетверо больше.

Он оглядел горницу.

— Господа, мы весь год считали случаи. Двадцать три подтверждённых, сорок одно сообщение. И весь год мы полагали, что это много.

— А теперь? — спросил Кросс.

— А теперь, — сказал Александр, — я полагаю, что мы считаем не случаи. Мы считаем те случаи, которые кто-то заметил и о которых кто-то потрудился написать. — Он помолчал. — Магистр Морвейн, вопрос. Сколько людей в Ардвейне и Загорье вместе умеют написать донесение?

Морвейн подумал.

— Грамотных, полагаю, один на сорок. Из них тех, кто напишет в казённое место, а не побоится, — один на десять от них.

— То есть один на четыреста.

— Приблизительно.

— Стало быть, — сказал Александр, — из четырёхсот случаев мы видим один. И это, господа, при том, что круг вчетверо больше прошлогоднего и что за одиннадцать дней на трёх дорогах их пять.

Свидетеля нашли на восемнадцатый день, и нашли случайно.

Его звали Бертольд, он был коробейник родом из-под Селена, лет пятидесяти, и он попался Кассандре на дороге в двух верстах от Плешан, когда она в четвёртый раз ходила проверять контур.

Он попался ей потому, что сидел на обочине и пил.

— Дренмор, — сказала она вечером, — я вам его привела, но предупреждаю сразу: он пьяница, и это не оговорка. Он с зимы пьёт.

Бертольд оказался сухим, жилистым, с трясущимися руками и той особой обидчивой словоохотливостью, какая бывает у людей, которых давно перестали слушать.

— Я говорил, — сказал он, едва сев. — Я в Селене говорил, в управе. Я приставу говорил. Меня в холодную посадили на трое суток за поклёп на приход.

— Расскажите мне, — сказал Александр. — С начала. Я вас в холодную не посажу.

Бертольд рассказывал сорок минут.

Он шёл в Плешаны с товаром в феврале — короб, две штуки холста, ленты, иголки, — и заночевал не в селе, а на выселках, у бобылки, потому что в селе за постой берут, а у бобылки за ленту.

Наутро он пошёл в село.

И не дошёл.

— Не то что не дошёл, — говорил он, вцепившись в кружку. — Я до околицы дошёл. Я вон там стоял, где сейчас берёзы. И оттуда обратно повернул.

— Отчего?

— А оттого, что незачем стало, — сказал Бертольд. — Вот стою я, господин хороший, и мне вдруг ясно так: незачем. Я и пошёл назад. И шёл до самого Селена четыре дня, и всю дорогу мне было хорошо.

Он поднял глаза, и Александр увидел в них то, чего не видел ни у одного выцветшего.

Ужас.

— А потом отпустило, — сказал коробейник. — На пятый день, в Селене, на постоялом. Сижу, ем — и вдруг понимаю: я же товар не продал. Я же в Плешаны шёл. Я две недели шёл, у меня короб полный. И я поворотил от околицы, и мне было хорошо.

Он выпил.

— Вот с того я и пью, господин. Не оттого, что забыл. Оттого, что мне было хорошо.

— Он был на краю, — сказал Морвейн ночью. — Юный наследник, это единственное объяснение. Он подошёл к контуру снаружи, зацепило краем, но внутрь он не вошёл.

— И потому отпустило, — сказал Александр.

— И потому отпустило, — согласился Морвейн. — Юный наследник, это первый человек, попавший под воздействие и сохранивший о нём свидетельство. Первый за всё время. — Он потёр лицо. — И я обязан сказать вслух то, что вы уже поняли. Его показание ничего не стоит.

— Отчего же?

— Оттого, что он пьёт с февраля, сидел в холодной за поклёп и рассказывает историю, которую при желании можно объяснить тремя способами без всякого выцветания. — Морвейн поднял глаза. — Я запишу его дословно и внесу в ведомость с пометкой «свидетельство недостоверно, свидетель нетрезв». Иначе, юный наследник, нашу ведомость через год завалят пьяницами, и мы утонем.

— Согласен, — сказал Александр.

— Вы согласны, — медленно повторил Морвейн, — и вы ему верите.

— Целиком, — сказал Александр. — Магистр, я тысячу лет прожил и скажу вам одну вещь про свидетелей. Человек, придумывающий историю, никогда не сочиняет, что ему было хорошо. Он сочиняет, что ему было страшно, потому что страшное объясняет, отчего он повернул. А этот сидит и мучается пятый месяц оттого, что ему было хорошо. Так не врут.

Отца Виллема Александр разыскал на девятнадцатый день, накануне отъезда, и разговор этот в отчёт не вошёл.

Священник принял его в ризнице — тесной, с низким сводом, пропахшей воском и мышами, — и первым делом выставил на стол кувшин и две глиняные кружки.

— Загорское, — сказал он. — Кислое. Пейте, господин ардвейнец, вам ещё девять дней ехать.

Они выпили.

— Я к вам с вопросом не по форме, — сказал Александр. — Все четырнадцать граф магистр с вами разобрал, и я не стану их повторять. Я хочу спросить про то, чего в графах нет.

— Спрашивайте.

— Отец Виллем, вы прихожан исповедуете.

— Тридцать один год.

— Стало быть, — сказал Александр, — вы знаете про это село то, чего не знает ни один опросный лист. Так вот мой вопрос. За те семьдесят семь дней, которых никто не помнит, — переменилось ли что-нибудь в людях?

Священник поставил кружку.

Он молчал долго — так долго, что Александр успел решить, что ответа не будет.

— Переменилось, — сказал отец Виллем. — И, господин ардвейнец, я тому вашему учёному этого не сказал, потому что он спрашивал по бумаге, а по бумаге такое не отвечается.

— Слушаю.

— Ссор нет, — сказал священник.

— Простите?

— Ссор нет, — повторил отец Виллем. — Я тридцать один год в этом приходе. У меня тут две семьи тяжутся из-за межи с моего первого года, и я их мирил, полагаю, раз двадцать. У меня тут мельник с кузнецом не разговаривают одиннадцать лет, и вся волость знает отчего. У меня баба на бабу подавала старосте четыре раза за прошлый год.

Он поднял глаза.

— А с конца апреля — ничего. Межа не поминается. Мельник с кузнецом здоровались при мне трижды. На исповеди — грехи есть, а обид нет.

— И вы полагаете, что это дурно?

— Я полагаю, что это не моё, — сказал отец Виллем. — Господин ардвейнец, я священник, я тридцать один год уговариваю их простить друг друга, и у меня выходило, дай бог, раз из пяти. А тут вышло само, за одну зиму, у всех сразу. — Он налил себе ещё. — Так вот, я вам скажу как есть: я этому не рад. Прощение, за которое человек не заплатил, — не прощение. Это просто память отшибло.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — данный человек за одну минуту сформулировал то, чего наша ведомость не поймает никогда».

старина. я всю дорогу сюда полагал, что главный вопрос состоит в том, что оно забирает. А он состоит, судя по всему, в том, что оно оставляет.

— Отец Виллем, — сказал Александр. — Ещё одно, и я уйду. Из тех семидесяти семи дней у вас есть церковная книга?

— Есть, — сказал священник. — Крещения, отпевания, венчания. Всё записано.

— Кем?

Отец Виллем очень медленно поставил кувшин.

— Мной, — сказал он.

— Вы уверены?

— Господин ардвейнец, я тридцать один год… — Он замолчал. Потом встал, снял с полки книгу, раскрыл и долго смотрел на страницу. — Моей рукой, — сказал он наконец. — Мой почерк, моё перо, моя манера сокращать. Четыре отпевания, три крещения, всё по чину, всё в срок.

Он поднял голову, и лицо у него было серое.

— А я, господин ардвейнец, ни одного из них не помню.

Домой Александр вернулся в середине мая и пробыл дома одиннадцать дней.

Верена за это время выучилась ходить достаточно уверенно, чтобы всерьёз заниматься тем, чем занимаются все дети двух лет: она носила предметы из комнаты в комнату и складывала их в местах, где им, по её разумению, было лучше.

За одиннадцать дней Александр обнаружил в её тайнике под лестницей: свою перчатку, деревянную ложку, три шишки, гребень Марты, ключ от винного погреба, за которым Марта искала два дня и по поводу которого высказалась исчерпывающе, и один из семидесяти четырёх листов отчёта Морвейна по Малым Вязам.

— Изольда, — сказал он, возвращая лист. — Я обязан отметить, что твоя дочь унесла из моего кабинета документ.

— Она унесла лист бумаги, — поправила Изольда. — А ты обязан отметить, что оставил государственный отчёт на стуле.

«— заметил Хранитель, — за минувший год ты проиграл в этом доме одиннадцать споров из одиннадцати».

Двенадцать, старина. Ты не присутствовал при обсуждении моего отъезда в феврале.

Вечером одиннадцатого дня, когда Верену наконец уложили, Изольда спросила:

— Ты опять уедешь.

— Уеду.

— Куда на этот раз?

— В Лоскутный Брод, — сказал Александр. — Четыреста вёрст к юго-западу. Небольшой город на Верейке, восемь тысяч душ, сукновальни и кожевни.

Изольда посмотрела на него.

— Там был круг?

— Нет.

— Там кто-то пропал?

— Нет.

— Тогда что там?

Александр помолчал.

«— сказал Хранитель, — тебе следует ответить точно, потому что она за минувший год выучилась отличать твои уклончивые ответы от прямых значительно лучше короля».

— Там тысячу лет назад стоял другой город, — сказал Александр. — И в этом городе была красильня, а над красильней комната в два окна, из которых одно заложено кирпичом. И в этой комнате жил человек, с которым я четыре ночи спорил о связующих контурах и чьё имя я не могу вспомнить пятьсот лет.

Изольда отложила рукоделие.

— Александр. У нас в этом году три села и восемнадцать одиночных случаев, и магистр Морвейн вывел кривую, по которой миру осталось четырнадцать лет. А ты едешь за четыреста вёрст искать комнату, которой нет тысячу лет.

— Еду.

— Зачем?

— Затем, — сказал Александр, — что за весь этот год мы установили ровно одно: то, что происходит, делает не стихия, а некто. И у этого некто есть привычки. Он тешет кресты. Он спорит на сходах. Он ставит четыре креста в год и пишет «сорок два». Он считает, Изольда. — Он повернулся к ней. — А единственный человек, о котором я знаю, что он считал зарубками на камне, — это тот, кто жил в комнате над красильней. И я не помню его имени. И я, начинаю подозревать, что не помню его не случайно.

Изольда долго молчала.

— Тогда возьми Кассандру, — сказала она наконец.

— Взял бы в любом случае.

— Я не о том, — сказала Изольда. — Александр, ты едешь копать своё прошлое. Ты сам говорил, что тебе оттуда вырезали год. Возьми с собой человека, который не станет тебя жалеть, если ты найдёшь что-нибудь скверное.

Она снова взялась за иглу.

— Из твоего окружения таких двое. Магистр Ортен и Кассандра. Ортен тебя не поедет.

Глава 5. Красильня

Город назывался Лоскутный Брод и стоял на левом берегу Верейки в четырёхстах верстах к юго-западу от Кайрана — восемь тысяч душ, три ярмарки в год, сукновальни, кожевни и та особая, ни с чем не сравнимая вонь, по которой всякий приезжий узнаёт красильный посад раньше, чем видит его.

Тысячу лет назад здесь стоял другой город.

Как он назывался, Александр не помнил.

«— заметил Хранитель на подъезде, — тебе следует объяснить нашим спутникам, что мы здесь ищем. я и сам не вполне понимаю».

Я ищу дом, в котором жил семьсот или восемьсот лет назад. Точнее — тысячу.

«И ты полагаешь, что он стоит».

Разумеется, не стоит. я полагаю, что от него не осталось и щепки, и что вся эта поездка есть чистой воды блажь, которую я не могу себе позволить и которую тем не менее позволяю.

«Тогда зачем?»

Затем, — сказал Александр, — что за минувший год я перепробовал всё разумное. Я считал промеры, разбирал показания, вскрывал тебя по описи и спрашивал у покойного Настоятеля. Осталось неразумное, и, у меня кончились доводы против.

Ехали вчетвером: Александр, Кассандра, магистр Морвейн и коронный писарь Ирвин Кросс, приставленный к поднадзорному по всей форме и обязанный вести журнал перемещений.

Ласк, отправляя их, выдал журнал лично.

— Пишите правду, Кросс, — сказал он. — Всю. Если господин Дренмор поедет копать землю в чужом городе — так и запишите: копал землю. Мне на суде понадобится документ, из которого будет видно, что человек занимался вздором, а не заговором.

— Барон, — заметил Александр, — я тронут.

— Не обольщайтесь, — сказал Ласк. — Половина того, что я делаю ради вас, я делаю ради того, чтобы иметь бумагу, если вы окажетесь виновны.

Красильные посады, как объяснил на второй день пути Морвейн, ставятся ниже по течению.

— Это, юный наследник, единственный закон, соблюдающийся во всяком городе всякой эпохи, — говорил он, покачиваясь в седле и с явным облегчением переходя от материй, в которых был бессилен, к тем, в которых разбирался. — Мыло, кожа, краска — всё ниже. Иначе город травит сам себя. Городская власть может рухнуть, вера может смениться, язык может стать неузнаваем — но красильню наверх никто и никогда не переносил.

— Стало быть, — сказала Кассандра, — если тысячу лет назад тут стоял город, красильни стояли там же, где стоят теперь.

— Приблизительно, — сказал Морвейн. — С поправкой на русло: реки гуляют. Верейка за тысячу лет, полагаю, ушла вправо шагов на двести.

— Магистр, — спросил Александр. — А земля?

Морвейн просиял.

— А вот тут, юный наследник, у нас есть настоящий подарок. Марена и вайда — красящие корни, знаете ли, — оставляют в почве осадок, который не вымывается. Ни за сто лет, ни за тысячу. Он не виден глазом, но обнаруживается, если взять горсть, прокалить и посмотреть на цвет золы.

— Вы можете это проделать?

— Я взял с собой две реторты, — с достоинством сказал Морвейн. — И, юный наследник, впервые за полтора года я еду туда, где точно знаю, что делаю.

Они прокалили сорок девять проб.

Работали шесть дней, начав от нынешнего красильного посада и двигаясь вверх по берегу шагами по сто, и первые тридцать проб дали ровно то, что должны были дать: свежий осадок, век, от силы два.

Тридцать первая, взятая в трёхстах шагах выше нынешнего посада, на пустыре за скотобойней, дала другую золу.

Морвейн смотрел на неё минут пять.

— Юный наследник, — сказал он наконец. — Здесь красили. Давно. Очень давно.

— Насколько?

— Не берусь сказать в годах, — Морвейн повертел плошку. — Но осадок лежит глубже пахотного слоя, а пахотный слой на этом берегу, судя по всему, наращён речным илом. Так что не двести лет и не четыреста. — Он поднял глаза. — ваш порядок.

Александр стоял на пустыре за скотобойней и оглядывался.

Ничего не было.

Крапива по пояс, две кучи битого кирпича, кострище, тропа, натоптанная скотогонами, и остов телеги без колёс, растащенный на дрова наполовину.

«— сказал Хранитель, — тебе следует сказать это вслух, иначе спутники решат, что ты онемел».

старина, я и онемел.

Копали три дня.

Городской голова Лоскутного Брода, увидев королевскую подорожную и печать Северной ведомости, разрешил всё, о чём просили, и попросил только, чтобы копали не в ярмарочную неделю и чтобы после закопали обратно.

Наняли шестерых мужиков.

На втором аршине пошёл культурный слой — черепки, кости, обломок жернова.

На третьем — кладка.

Она была скверная, из дикого камня на глине, и Морвейн, очистив угол, определил её как фундамент хозяйственной постройки, «вероятно, ремесленной, поскольку под полом устроен сток».

К вечеру третьего дня открыли сток целиком: желоб, выложенный камнем, шириной в ладонь, уходящий в сторону старого русла.

Он был окрашен.

Не грязью, не ржавчиной: камень по всей длине желоба был въевшимся, глухо-синим — тем самым синим, какой даёт вайда и какой не сходит ни с рук, ни с досок, ни с камня.

Александр опустился на колени у края раскопа и очень долго смотрел вниз.

Тесная комната над красильней. Два окна, одно заложено. Печь дымила при западном ветре, и мы четыре ночи спорили о связующих контурах, и он всякий раз садился так, чтобы дым шёл на меня.

Он шмыгал носом. Рыжий, невыносимо болтливый, шмыгал носом.

Вино было кислое.

Он закрыл глаза.

Старина. Как его звали?

Тишина.

Старина.

*«Александр», — сказал Хранитель.

Голос был не такой.

Это Александр отметил прежде, чем понял, что именно не так: голос был чуть медленнее, чуть ниже, и в нём не было той сухой, отработанной за полтора года иронии, по которой Александр узнавал Хранителя, как узнают человека по походке.

«Александр. Я здесь был».

Перстень нагрелся.

Не обжёг — нагрелся, как нагревается металл, пролежавший на солнце, — и это было первое за два года физическое проявление, которого Александр не мог объяснить.

— Дренмор? — резко сказала Кассандра.

— Не подходи.

Она не подошла. Она отступила на два шага, вынула нож и встала так, чтобы оказаться позади и правее, — ровно так, как он сам ей объяснял год назад у Медвежьего брода.

«Александр, я обязан доложить обстановку, покуда способен, — быстро произнёс Хранитель, и голос уже был свой, но говорил он значительно быстрее обычного. — Я утрачиваю связность. Не память — связность: я перестаю удерживать порядок. Это длится, по моему счёту, сорок одну секунду».

Что это?

«узнавание, — сказал Хранитель. — Александр, за третьей дверью что-то сдвинулось. Я не открывал. Я держу. Но она перестала быть неподвижной».

Перстень нагрелся сильнее.

«И ещё одно, и я прошу это записать, потому что через минуту я, полагаю, не смогу повторить. — Хранитель сделал паузу, и в паузе было нечто похожее на усилие. — Я знаю этот сток. Я знаю, что он забивался. Я знаю, что его чистили палкой с крючком и что палка стояла у входа слева».

Александр очень медленно повернул голову.

Раскоп был вскрыт с восточной стороны. Вход в постройку — дверной проём, обозначенный двумя вертикальными камнями, — приходился на северную стену.

Слева от него, в углу, где сходились кладка и порог, в глине лежала палка.

Точнее — то, что от неё осталось: обугленный, спрессованный, полуистлевший стержень длиной с локоть, и на конце его, там, где полагалось быть крючку, торчал ржавый обрубок железа.

— Магистр, — сказал Александр. — Слева от порога. Не трогайте руками.

Морвейн подошёл, посмотрел и присел.

— Юный наследник, — сказал он через минуту, — откуда вы знали?

Сорок одна секунда прошли, и Хранитель замолчал.

Он молчал два часа — не как год назад, не наглухо: он отзывался, он подтверждал, что слышит, но говорить отказывался, сообщив только, что «в настоящее время занят и просит не отвлекать».

Александр сидел на краю раскопа до темноты.

Он там был.

Это была первая мысль, и она держалась долго, потому что за ней немедленно вставала вторая, значительно хуже.

И знает об этом месте то, чего не знаю я.

Он перебрал всё, что помнил про ту комнату, и обнаружил, что помнит её глазами гостя: он помнил, что печь дымила, но не помнил, чем её топили; помнил, что вино кислое, но не помнил, где его брали; помнил ученика в лицо и по голосу — и не помнил ни одного случая, когда тот выходил из комнаты.

Я приходил туда, старина. Я не жил там. Жил он.

«— отозвался Хранитель, впервые за два часа, и голос был усталый, — ты только что установил вещь, которую я установил сорок минут назад и не решался тебе сообщить».

Зарубки нашли на четвёртый день, когда уже начали закапывать.

Нашёл мужик по имени Тешко — тот, что копал у северной стены и которому Морвейн велел снять глину с внутренней стороны кладки, «чтобы зарисовать шов».

Он снял глину и позвал.

На третьем камне снизу, на внутренней стороне — той, что смотрела в комнату и была, стало быть, за печью, — по камню шли зарубки.

Их было много.

Морвейн чистил их щёткой полтора часа и всё это время не произнёс ни слова.

Потом сел на землю и сказал:

— Юный наследник. Здесь четыреста семнадцать.

Зарубки шли рядами: короткие вертикальные насечки, сгруппированные по четыре, и всякая пятая перечёркивала предыдущие четыре наискось. Ряды были ровные. Расстояние между рядами одинаковое.

Считал человек, который считал долго и знал, что будет считать долго.

— Четыреста семнадцать чего? — спросила Кассандра.

— Не знаю, — сказал Морвейн.

Александр присел рядом и провёл пальцем по камню.

Насечки были сделаны не ножом. Они были глубокие, с выкрошенными краями, и всякая имела на конце небольшое расширение — след инструмента, ударявшего не строго перпендикулярно.

Шило. Или гвоздь. Кто-то бил в камень гвоздём, держа его наискось, четыреста семнадцать раз.

«— сказал Хранитель, — тебе следует посмотреть на последний ряд».

Последний ряд был неполным.

В нём было три насечки вместо пяти, и четвёртая была начата — короткая, вдвое мельче прочих, обрывающаяся на середине.

— Его прервали, — сказала Кассандра.

— Или он ушёл, — сказал Александр.

Он поднялся, отряхнул колени и постоял, глядя на камень.

Старина. Восьмой девятьсот двенадцать лет ставил четыре креста в год. Он вёл счёт.

«да».

А здесь, в комнате над красильней, за тысячу лет до всего этого, кто-то отсчитал четыреста семнадцать чего-то и не досчитал четыреста восемнадцатое.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — тебе следует задать вопрос, который ты сейчас обходишь».

Я его задам, старина. Я его задам прямо и без околичностей.

Он положил ладонь на камень.

Это твои зарубки?

Хранитель молчал.

Молчал долго — так долго, что Морвейн успел закончить зарисовку, а Кросс — внести в журнал очередную строку о том, что поднадзорный копал землю.

«Я не помню, — сказал наконец Хранитель. — И, Александр, я обязан прибавить, что это второй раз за два года, когда я произношу эти три слова. Первый был про знак на руке твоей дочери».

Ночью, когда раскоп уже закопали наполовину, Александр вернулся туда один.

Мужики ушли, костёр догорал, и над Верейкой стоял тот сырой июньский туман, что поднимается от воды к полуночи и держится до рассвета.

Он сел на отвал.

Старина. Разберём по порядку, как разбирают всякое затруднение.

«сегодня это займёт немного времени».

Напротив. сегодня у нас впервые за два года достаточно материала, чтобы разбирать. — Он подобрал ком глины и раскрошил его в пальцах. — Первое. В этой комнате жил мой ученик. Я приходил к нему, а не он ко мне: я помню комнату глазами гостя.

«да».

Второе. Ты знаешь про эту комнату то, чего не знаю я: что сток забивался и чем его чистили. Стало быть, ты жил там, а не приходил.

«да».

Третье. За печью, на камне, четыреста семнадцать зарубок, и последняя не докончена.

Хранитель молчал.

Старина, теперь вывод, и я его произнесу, а ты поправишь. Из трёх пунктов складывается ровно одно: ты — тот рыжий мальчишка, который шмыгал носом и садился так, чтобы дым шёл на меня.

«— сказал Хранитель после долгой паузы, — я обязан ответить осторожнее, чем тебе бы хотелось. Из трёх пунктов складывается, что я жил в этой комнате. Что в ней жил один человек, а не трое за сорок лет, — не установлено».

Старина.

«Александр. — Голос сделался ровным, тем самым ровным, каким Хранитель говорил в важные минуты. — Я год назад отдал тебе формулировку приказа и с тех пор ни разу тебе не солгал. Не заставляй меня начинать сегодня. Я не помню. Я нахожу твой вывод правдоподобным. Правдоподобное и установленное — разные вещи, ты сам вчера объяснял это королю».

старина, я не рассчитывал, что мои же доводы обернут против меня в тот же месяц.

«это и есть основное неудобство честных доводов».

Александр долго молчал.

Хорошо. Тогда последнее, и на сегодня довольно. Если ты — он, то я тебя запечатал в камень и оставил приказ, а сам ушёл и через тысячу лет забыл даже имя. И это, ложится в то, что сказала мне сегодня Кассандра, и ложится отвратительно хорошо.

«— очень тихо произнёс Хранитель, — ты сейчас обошёл одну возможность, и обошёл её намеренно. Есть второй вариант».

Какой?

«Что я вызвался сам».

Туман над Верейкой густел.

«И, Александр, я обязан сказать, что предпочёл бы этот вариант — не оттого, что он лучше для тебя, а оттого, что он лучше для меня. Триста лет в темноте переносятся значительно легче, если ты сам туда попросился».

Раскоп закопали на пятый день, как и обещали городскому голове.

Камень с зарубками Морвейн вымолил у него за четыре золотых и увёз с собой, обложив соломой, — и всю обратную дорогу вёз, как везут больного.

Александр всю дорогу молчал.

На третий вечер, у костра, Кассандра села рядом и сказала:

— Дренмор. Спрошу, а вы не отвечайте, если не хотите.

— Спрашивай.

— Вы туда поехали не считать, — сказала она. — И не землю прокаливать. Вы поехали вспомнить имя.

Александр не ответил сразу.

— Поехал, — сказал он.

— Вспомнили?

— Нет.

— А что вспомнили?

Хороший вопрос.

— Запах, — сказал Александр. — Вайда пахнет тухлыми водорослями, и в той комнате пахло так постоянно, потому что окно выходило во двор красильни, и одно из двух окон было заложено кирпичом, и заложено оно было именно поэтому. — Он смотрел в огонь. — Я это вспомнил, стоя на пустыре за скотобойней, и до этой минуты не знал, что помню.

— И всё?

— И то, что я туда приходил, — сказал Александр. — Не жил. Приходил.

Кассандра подбросила ветку.

— Дренмор, — сказала она. — Я в Долине четырнадцать лет ходила по следу. Скажу вам одну вещь про память, вы её примете или нет, дело ваше.

— Говори.

— Человек не помнит имён тех, кого предал, — сказала Кассандра. — Он помнит запахи, комнаты, погоду и что было на столе. А имя не помнит. Я это на трёх людях видела и на себе один раз.

Она встала.

— Я не говорю, что вы его предали. Я говорю: так бывает. Это не всегда вина.

«— заметил Хранитель, когда она отошла, — данная женщина второй раз за два года сказала тебе то, чего не сумел сказать ни один магистр».

старина. я начинаю подозревать, что за тысячу лет я систематически переоценивал пользу образования.

Обратный путь занял восемнадцать дней, и на четырнадцатый они заехали в Ольховку.

Заехали не нарочно: там был единственный на тридцать вёрст постоялый двор.

Хозяин — тот самый, что три года назад лишился половины сарая, — узнал Александра во дворе, и следующие полчаса прошли в объяснениях, из которых Кассандра впоследствии вынесла больше удовольствия, чем из всей поездки.

— …и столб, — рассказывал хозяин, обращаясь преимущественно к Морвейну как к человеку учёному и, стало быть, способному оценить. — Чёрный. В две сажени. Я вышел, а он стоит.

— В полторы, — заметил Александр.

— В две, — твёрдо сказал хозяин. — Господин хороший, я его видел, а вы в нём стояли, вам оттуда не видать.

«— с наслаждением заметил Хранитель, — возразить нечего».

— Ладно, — сказал Александр. — Сколько с меня за сарай?

Хозяин замахал руками.

— Да что вы, господин! Мне за него уже четвёртый год платят прибытком. Ко мне народ нарочно заезжает послушать.

За ужином, когда хозяин ушёл, Морвейн вдруг отложил ложку.

— Юный наследник. Я весь вечер думаю про этот сарай и, признаться, пришёл к неприятному соображению.

— Излагайте.

— Вы сожгли его три года назад, применив, по вашему же тогдашнему объяснению, два безобидных контура, давших непредвиденное взаимодействие. — Морвейн снял очки. — А сегодня мы в четырёхстах верстах отсюда откопали сток, о котором ваш Хранитель знал то, чего не знали вы. И мне пришло в голову: а не бывает ли так и с памятью?

— Поясните.

— Два безобидных контура, — сказал Морвейн. — Ваша память — раз. Его память — два. По отдельности в обеих ничего опасного. А вместе, юный наследник, они дают то, чего никто не предвидел, и я, признаться, не берусь сказать, чем это кончится, если однажды они соединятся.

Он надел очки.

— я потому и говорю это вслух за ужином, а не пишу в отчёте. В отчёте пришлось бы обосновывать, а обосновать мне нечем.

«— сказал Хранитель, — магистр за минувший год стал опасно догадлив».

старина. из всех приобретений минувшего года это я нахожу самым ценным и самым неудобным одновременно.

Домой они приехали в конце июня, и дома Александра ждали два известия.

Первое было хорошее: Верена за месяц выучила ещё девять слов, из которых «папа» стояло шестым, что Изольда сочла полной и окончательной победой, а Александр — результатом методичной работы.

Второе лежало на столе в библиотеке, в пакете Северной ведомости, и было от Одвина.

«Промер произведён девятого числа, при пяти свидетелях.

Расстояние от репера до линии сократилось ещё на четыреста двадцать шагов. Прирост соответствует расчёту магистра Морвейна с отклонением менее сотой.

Прибавляю то, о чём не знаю, как писать, и потому напишу как есть.

Четверо дозорных и брат Северин на прежнем месте. Восемнадцатого числа брат Северин впервые за год встал сам, без понуждения, и пошёл. Не на север. Он дошёл до дозорной избы, вошёл, сел за стол, придвинул приходную книгу и просидел над ней до вечера.

Он ничего не написал. Он держал перо и смотрел на страницу.

Наутро повторилось. Повторяется девятый день кряду.

Господин Дренмор, я прошу вас приехать. Я одиннадцать лет знал этого человека и утверждаю: он не вспоминает. Он ждёт, чтобы ему продиктовали.

Одвин».

Глава 6. Совет всех

Собрание назначили на первое число августа, и назначили его не в Кайране.

Столица не подходила по причине, которую канцлер Вельт сформулировал на удивление откровенно: «Государь, если Орден Пепла войдёт в ворота Кайрана строем, к вечеру в городе будет три пожара и одна мясная лавка, разбитая по недоразумению».

Ольховый двор не подходил тем более: там не хватало места.

В итоге сошлись на Тресковой переправе — торговом селе на северном тракте, в четырёх днях пути от столицы и в двух от границы владений Дренмор, где был большой постоялый двор, три амбара и, что оказалось решающим, широкий выпас, на котором можно было поставить лагерем четыре отряда так, чтобы они друг друга не видели.

Александр приехал за два дня.

Он приехал под надзором — коронный писарь Кросс ехал рядом и вёл журнал, — и это, к некоторому его собственному удивлению, оказалось единственным обстоятельством, сделавшим собрание возможным вообще.

— Не понимаю, — сказал Виктор Эшвальд, приехавший от Академии в качестве младшего секретаря и не скрывавший, что напросился. — Тебя же по сути обвиняют. Как это может помогать?

— Виктор, — сказал Александр, — сюда съезжаются четыре стороны, из которых три полагают меня либо орудием, либо угрозой, либо и тем и другим. Если бы я приехал сюда королевским поверенным с печатью, всякое моё слово имело бы вес — и потому его пришлось бы оспаривать. — Он усмехнулся. — А поднадзорный не имеет веса. Поднадзорного можно слушать бесплатно.

Съезжались три дня.

Корона приехала первой: Ласк, канцлер Вельт, мастер Ольвен из счётной палаты и сорок конных.

Орден Равновесия — на второй день: магистр Стейн, магистр Крайс, магесса Вейл и магистр Ортен, приехавший отдельно и, по обыкновению, частным лицом.

Орден Пепла пришёл на второй день к вечеру.

Их было шестьдесят, они шли пешком, и Одвин, ведавший делами Ордена второй год, вёл их сам, впереди, без коня.

Он остановил колонну в трёхстах шагах от выпаса и дальше пошёл один — как год назад на Пепельном поле, — и с ним пошёл только магистр Грейв, состоявший при Ордене хранителем архивов и, по общему мнению, единственный человек, которого одинаково терпели обе стороны.

Тенистая долина пришла последней.

Их было двенадцать. Мирелла ехала в середине, без всяких знаков достоинства, в той же мужской дорожной одежде, и Александр, встречавший их у въезда, отметил, что за год она снова изменилась.

Она перестала быть двадцатитрёхлетней.

Не постарела — именно перестала: у неё появилась та неторопливость, которая приходит к людям, привыкшим, что их ждут.

— Дренмор.

— Мирелла.

Она спешилась и оглядела выпас — четыре лагеря, поставленных так, чтобы не видеть друг друга.

— Кто это придумал?

— Барон Ласк.

— Передайте ему, что он умный человек, — сказала Мирелла. — И передайте, что он ошибся. Уберите загородки. Пусть видят.

— Обоснуйте.

— Дренмор, — сказала она, — я год правлю Долиной и скажу вам, что усвоила. Люди, которых развели по углам, всю ночь думают, что делают в соседнем углу. А люди, которые видят соседний угол, к утру привыкают. — Она передала повод. — Мы за год приняли восемьдесят одного человека из ваших крепостей. Восемьдесят один человек, Дренмор, которые ели орденский хлеб и которых мы поселили у себя. Первый месяц у нас каждую ночь дежурили. Второй — через ночь. Сейчас не дежурим.

Собрание открыли первого августа, в полдень, в большом амбаре, из которого вынесли всё, что можно было вынести, и поставили четыре стола буквой «П», а четвёртый — поперёк.

За поперечным сел король.

Ансельм IV приехал накануне ночью, без объявления, с восемью конными, и первым делом обошёл все четыре лагеря — пешком, в дорожном платье, без свиты, — что впоследствии обсуждали дольше, чем половину принятых решений.

— Начнём с простого, — сказал он, когда все расселись. — Здесь сидят четверо, у которых нет общего суда, общего закона и общего бога. Спорить о старшинстве мы не будем: я в этом амбаре не король, а одна из четырёх сторон, и, если кому-то это неудобно, скажите сейчас.

Никто не сказал.

— Тогда порядок такой. Сперва каждая сторона излагает, что у неё есть. Потом каждая излагает, чего хочет. Спорить начнём послезавтра. — Он оглядел собрание. — И последнее. Всякий, кто в этом амбаре вспомнит старую обиду, будет выведен мной лично. Я понимаю, что обиды справедливы. У меня их тоже две. Мы вернёмся к ним, когда у нас будет на это время.

Излагали полтора дня.

Мастер Ольвен доложил по казне: сорок одно сообщение за девять месяцев, из них двадцать три подтверждённых, из них четыре селения и девятнадцать одиночных случаев. Оборот по северному тракту упал на треть. Вывод восемнадцати волостей невозможен: четыре с половиной года и вся казна.

Морвейн доложил кривую — с обеими оговорками, как было условлено, и его дважды переспрашивали, и оба раза он повторил, что расчёт правдоподобен и не доказан.

Одвин доложил по Ордену.

Он читал по бумаге, и Александр, слушая, поймал себя на неуместном соображении: два года назад этот человек стоял на коленях в грязи Пепельного брода, а теперь докладывает собранию четырёх сторон, и голос у него не дрожит.

— Обителей двадцать две, — читал Одвин. — Действующих девятнадцать; три закрыты за отсутствием братии. Численность — тысяча девятьсот сорок один человек, из них способных к полю — четыреста шесть. Перепись снята во всех землях, где вводилась. Крепости распущены, кроме Крепости Раскаяния, которая обращена в хранилище архивов.

Он перевернул лист.

— Северный дозор восстановлен и стоит вторым годом. Двадцать два брата, ротация посезонная, промер дважды в год. Приходная книга ведётся. — Он помолчал. — И, поскольку здесь присутствует Тенистая долина, я обязан доложить и это. За минувший год Орден Пепла передал в Долину списки всех карательных действий за девятьсот двенадцать лет, какие удалось восстановить по нашим книгам. Тридцать один том. это не искупление, и я не стану называть это искуплением.

Мирелла подняла голову.

— Одвин.

— Слушаю.

— Скажите вслух, сколько там имён.

Одвин помолчал.

— Мы не считали, — сказал он. — Мы записали.

— Тогда я скажу, — произнесла Мирелла. — Мы посчитали. Триста двенадцать тысяч четыреста шесть. — Она обвела амбар взглядом. — И это только те, кого Орден сам занёс в свои книги. Наша книга даёт больше, но наша книга неполна с другой стороны: мы не записывали тех, кого не хватились.

В амбаре стало тихо.

— Я говорю это не для того, чтобы упрекнуть, — сказала Мирелла. — Я говорю это, чтобы через час, когда мы начнём договариваться, все за этим столом помнили число. Я не желаю, чтобы кто-нибудь потом сказал, будто Долина простила по недоразумению.

Своё изложила и Долина, и Академия, и корона.

К вечеру второго дня стало ясно, что на столе лежат три предложения, и что все три — плохие.

Орден Пепла предлагал держать. Одвин говорил недолго: обитель у границы, промеры, вторая обитель южнее, третья за ней, цепь наблюдательных постов до самых ардвейнских земель. Не остановить — знать. Он не скрывал, что это единственное, что Орден умеет.

Корона предлагала выводить. Не восемнадцать волостей — три, самые северные, и не сразу: за четыре года, по деревне, под видом податных послаблений, чтобы не поднялся вой. Канцлер Вельт изложил это подробно, и изложил, надо признать, толково.

Тенистая долина предлагала снимать.

Излагала Мирелла, и излагала четверть часа, и половину этого времени в амбаре стоял такой шум, что королю трижды пришлось стучать по столу.

— Повторю, поскольку меня, кажется, не расслышали, — сказала она в четвёртый раз. — Печать поставлена практиком. Это установлено — не мною, а магистром Морвейном, по точке замыкания, и присутствующие могут оспорить его выкладки, если умеют. Всякое поставленное можно снять. Мы предлагаем не держать и не бежать. Мы предлагаем найти способ снять то, что поставлено, и поставить заново.

— Госпожа Старейшина, — тяжело сказал магистр Стейн. — Вы понимаете, что предлагаете открыть то, что девятьсот лет держало?

— Понимаю.

— И что произойдёт в ту минуту, когда оно откроется?

— Не знаю, — сказала Мирелла. — И, магистр, я не намерена делать вид, будто знаю. Но я знаю, что произойдёт, если мы будем держать и выводить. Мы будем держать и выводить одиннадцать лет, а потом четырнадцать, а потом окажется, что оно уже везде, потому что оно уже везде: девятнадцать одиночных случаев за девять месяцев в тысяче вёрст от границы. — Она положила ладонь на стол. — Господа, вы предлагаете обороняться от того, что уже внутри.

Спорили полтора дня.

К вечеру четвёртого спор выродился в то, во что вырождается всякий спор четырёх сторон: перестали обсуждать существо и начали обсуждать, кто будет за это отвечать.

Александр всё это время молчал.

Он сидел у стены, не за столом — поднадзорному места за столом не полагалось, — и молчал четвёртый день, и Виктор, сидевший рядом, к концу четвёртого дня начал ёрзать.

— Ты вообще собираешься говорить?

— Собираюсь.

— Когда?

— Когда они дойдут до книг, — сказал Александр.

— До каких книг?

— До любых, — сказал Александр. — Виктор, в этом амбаре сидят четыре стороны, и у всякой из них есть одно и то же. У короны — таможенные книги и податные ведомости.

У Ордена Пепла — приходные книги за девятьсот двенадцать лет. У Долины — поимённая книга. У Академии — протоколы Совета за четыреста лет. — Он смотрел на спорящих. — Они четвёртый день спорят о том, что делать, и ни один из них не заметил, что все четверо всю свою историю занимались ровно одним и тем же.

Заметила, как и следовало ожидать, Мирелла.

Она заметила это на пятый день, в третьем часу пополудни, когда канцлер Вельт в сорок первый раз излагал невозможность вывода волостей, ссылаясь на податные росписи.

Она перебила его на середине.

— Ваша светлость. Откуда у вас цифра в сорок одну тысячу душ?

— Из податных росписей, госпожа Старейшина.

— За какой год?

— За позапрошлый.

— А за прошлый есть?

— Разумеется, есть.

— А за десять лет назад?

Канцлер начал раздражаться.

— Госпожа Старейшина, коронные росписи ведутся с двести восьмого года и хранятся полностью.

Мирелла повернулась к Одвину.

— Одвин. У вас есть числа душ по северным волостям?

— Есть, — сказал тот. — Мы вели счёт по всякой волости, где действовали. С двести шестого года.

— Магистр Стейн. У Академии?

— По практикам, — медленно сказал Стейн. — Приёмные списки, четыреста лет.

Мирелла встала.

— Государь, — сказала она. — Я прошу слова не по существу спора, а по способу.

Ансельм IV откинулся в кресле.

— Слушаю.

— Мы пятый день спорим о том, что делать, и ни один из нас не может ничего доказать другому, потому что у нас нет ничего общего. — Мирелла обвела амбар. — А у нас есть. У всех четверых. У нас есть книги.

Она подняла руку и стала загибать пальцы.

— Корона считала души и подати восемьсот лет. Орден считал деньги и головы девятьсот двенадцать. Академия считала практиков четыреста. Долина считала мёртвых девятьсот двенадцать. Четыре счёта, господа, ведённые независимо, по разным поводам, людьми, которые друг друга ненавидели и потому уж точно не сговаривались.

Она положила ладони на стол.

— Так вот. Всё, что мы знаем про это явление, добыто из книг. Промеры — книга. Точка замыкания — потому что Морвейн знал, чего искать, а знал он это, потому что вёл записи. Даже то, что оно ускоряется, вылезло из шести строк таблицы. — Она посмотрела на короля. — Я предлагаю сложить книги. Все четыре. И начать считать одно и то же по единой форме — сегодня, а не когда мы доспорим.

В амбаре стало очень тихо.

— Что именно считать? — спросил Ласк.

— Беспамятство, — сказала Мирелла. — Всякий случай. В каждой волости, каждом приходе, каждой обители, каждом селении Долины. По единой бумаге, с обязательной записью «случаев нет», потому что «нет» — тоже число.

Магистр Морвейн очень медленно поднялся со своего места у стены.

— Госпожа Старейшина, — сказал он, и голос у него сорвался. — Я просил об этом в марте. Юного наследника. У себя в библиотеке. Он мне сказал, что это невозможно, потому что понадобится человек в каждой волости.

— Он был прав, — сказала Мирелла. — Одному королевству это не под силу. — Она повернулась. — Государь. У вас в северных волостях восемнадцать становых. У Ордена Пепла — девятнадцать действующих обителей и тысяча девятьсот сорок один брат, из которых половина писцы. У Академии — четыреста выпускников по всему королевству. У Долины — двести дозорных, которые всю жизнь только и делают, что ходят и запоминают.

Она села.

— По отдельности ни у кого нет. Вместе — есть.

Решение приняли на седьмой день, и приняли его в четырёх экземплярах, потому что общего архива у сторон не было и заводить его было негде.

Оно называлось «Общая ведомость беспамятства» и состояло из девяти пунктов.

Первый: единая форма опроса в четырнадцать граф, составленная магистром Морвейном и обязательная для всех четырёх сторон.

Второй: сбор — ежемесячно, независимо от наличия случаев.

Третий: сведение — в Крепости Раскаяния, как в месте, равно неудобном для всех.

Четвёртый: хранитель сведённого — магистр Грейв, как единственное лицо, состоявшее последовательно в двух из четырёх сторон и потому не вызывающее полного доверия ни у одной.

Пятый: доступ — полный, у всех четырёх, без изъятий.

Шестой, внесённый по требованию Мирелы: всякая сторона обязана вносить и те случаи, что произошли по её собственной вине.

Седьмой, внесённый по требованию Одвина: списки не именные. Только числа, возраст, волость. Ни одного имени.

Восьмой, внесённый по требованию Ортена: всякий, кто сведён в ведомость, вправе знать, что сведён, и вправе прочесть свою запись.

Девятый, внесённый королём: ведомость ведётся, покуда есть кому вести, и не прекращается ни по чьему распоряжению, включая его собственное.

Подписали в амбаре, стоя, вечером седьмого дня.

«— заметил Хранитель, — тебе следует отметить одну вещь для истории».

Отмечаю, старина. Четыре стороны, воевавшие девятьсот лет, объединились не ради обороны, не ради веры и не ради общего врага. Они объединились ради того, чтобы вести общую отчётность.

«И, я нахожу это единственным по-настоящему обнадёживающим событием за минувшие два года».

Согласен, старина. за тысячу лет я видел множество союзов, скреплённых кровью, и все они распались. А этот скреплён формой в четырнадцать граф, и, полагаю, он переживёт всех подписавших.

Александр взял слово последним, когда всё уже было подписано.

— Государь. Господа. Одну минуту, и я не отниму больше.

Он вышел на середину амбара.

— Я слушал вас семь дней и не сказал ни слова, и, полагаю, некоторые сочли это высокомерием. Дело в другом. Я поднадзорный, обвиняемый в том, что описанное явление есть моих рук работа. Я по-прежнему не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть.

Он оглядел собравшихся.

— Поэтому я скажу одно, и это не предложение, а просьба. Что бы вы ни решили дальше — не стройте на мне. Ни как на орудии, ни как на виновном. Всякое решение, в котором есть строка «Дренмор сделает то-то», содержит допущение, которого никто из вас не может

проверить. — Он помолчал. — А я, господа, ровно год назад в ущелье у Медвежьего брода убил пятнадцать человек, потому что достал заготовленное решение, устройства которого не понимал. И это, полагаю, всё, что вам следует обо мне знать при планировании.

Он вернулся к стене и сел.

Первым заговорил магистр Ортен.

— Государь, — сказал он, поднимаясь. — Прошу занести в решение особым пунктом. Десятым.

— Слушаю, магистр.

— «Ни одно действие, принятое сторонами по настоящему решению, не может зависеть от одного человека», — сказал Ортен. — Дословно. Без имён.

Он сел.

— И, Дренмор, — прибавил он, не оборачиваясь, — не благодарите. Я вношу это не ради вас.

«— заметил Хранитель, — он вносит это ровно ради тебя».

старина. за два года я так и не научился определять, когда этот человек говорит правду о своих побуждениях.

Вечером седьмого дня, когда в амбаре уже гасили свечи, к Александру подошёл магистр Крайс.

За семь дней собрания он не сказал ни слова — сидел за столом Академии третьим, рядом с магессой Вейл, и слушал.

— Молодой Дренмор.

— Магистр.

Крайс сел рядом на лавку, тяжело, как садятся люди, у которых болят колени.

— Я вас три года не видел толком, — сказал он. — Мельком, на заседаниях. Вы стали хуже выглядеть.

— магистр, за три года я реже стал спать.

— Дело не в этом. — Крайс смотрел прямо перед собой. — Молодой Дренмор, я в этом амбаре семь дней слушал, как четыре стороны договариваются о том, чего никто из них не понимает. И весь седьмой день я думал об одном: вы понимаете, что вы всё это устроили?

— Магистр, я поднадзорный. Я не сказал ни слова до сегодняшнего вечера.

— Вот именно, — сказал Крайс. — Три года назад вы пришли ко мне в кабинет и сказали, что магистр Ролленд берёт деньги. Больше вы ничего не сделали. С тех пор ваш Ролленд мёртв, Орден Пепла снял перепись, Долина сидит за одним столом с Пеплом, король завёл ведомость беспамятства, а Ортен подал в отставку и уехал воевать. — Он повернул голову. — И вы всякий раз ничего не делали, а просто говорили вслух то, чего не хотели говорить прочие.

— Магистр, к чему вы ведёте?

— К тому, — сказал Крайс, — что вы за три года ни разу не сказали вслух одну вещь, и я хочу, чтобы вы её сказали. Не мне. Себе.

Он поднялся.

— Молодой Дренмор, вы всё это время говорите «я не знаю, виновен ли я». — Он застегнул мантию. — А вы не пробовали сказать: «я не хочу быть виновен»? Это, знаете ли, разные состояния, и второе значительно опаснее, потому что оно подделывается под первое.

Он пошёл к дверям и уже в проёме обернулся.

— Я вас, к слову, ни в чём не обвиняю. Я вас три года назад взял под патронаж и не отказываюсь. Просто мне шестьдесят один, и я, полагаю, из всех присутствующих единственный, кто помнит вас семнадцатилетним. — Он помолчал. — Так вот, тот семнадцатилетний, молодой Дренмор, врал значительно лучше. И это, единственная перемена в вас, которая меня радует.

Разъезжались на девятый день.

Мирелла нашла его у коновязи, когда долинные уже седлали.

— Дренмор. Два слова.

— Слушаю.

— Одвин просил передать. — Она понизила голос. — Про вашего выцветшего, который девятый день сидит над книгой. Одвин говорит: перестало быть девять дней. Он теперь садится с рассвета и сидит до темноты. И он больше не просто смотрит.

— А что он делает?

Мирелла помолчала.

— Он водит пальцем по строкам, — сказала она. — Слева направо. Сверху вниз. Как считают.

Глава 7. Как спрашивают у выцветших

Обитель Северного дозора Александр увидел в конце августа, на двадцать шестой день пути, — и первое, что отметил, было то, что она стала больше.

Год назад Одвин поставил здесь двадцать два человека и три сруба. Теперь на сером плато стояло поселение: одиннадцать построек, обнесённых не стеной, а низким валом «для порядка, а не для обороны», как впоследствии объяснил Одвин; конюшня на сорок голов; отдельный сруб под книги; и, что окончательно определило впечатление, огород.

— Огород? — переспросил Морвейн.

— Репа, капуста, лук, — невозмутимо сказал Одвин. — Магистр, у меня двадцать два человека сидят тут по полгода и смотрят на север. вы представляете, что делается с людьми, которые полгода смотрят на север и больше ничего.

— И огород помогает?

— Огород, — сказал Одвин, — помогает лучше молитвы. Я это докладывал Совету и готов повторить где угодно.

Северин сидел за столом в дозорной избе.

Он сидел там, как и было доложено, с рассвета до темноты: прямо, положив обе руки на столешницу, перед раскрытой приходной книгой, и водил указательным пальцем правой руки по строкам.

Слева направо. Сверху вниз. Дойдя до конца страницы, останавливался, возвращался к началу и начинал сначала.

Ему было тридцать три года. Он был здоров, ел, спал, ходил, откликался на слово «брат» и не откликался ни на что другое.

Александр смотрел на него из дверей минуты три.

«— сказал Хранитель, — тебе следует подойти».

старина, мне следует сперва посмотреть, что он делает, а не что мне кажется, будто он делает. За тысячу лет я усвоил: разница между этими двумя занятиями стоила мне четырёх войн.

Он вошёл, сел напротив и стал смотреть на палец.

Через час он понял первое.

Северин не читал.

Он вёл пальцем ровно, с одинаковой скоростью, и скорость эта не менялась ни на длинных строках, ни на коротких, ни на пустых. Он не останавливался на числах. Он не возвращался. Он просто вёл — так, как ведут по строке, чтобы не потерять место, а не так, как ведут, разбирая написанное.

Через два часа он понял второе, и второе было хуже.

Северин переворачивал страницу не тогда, когда доходил до низа.

Он переворачивал её каждые четверть часа. Точно. Александр засёк по песочным часам, принесённым Кроссом, и проверил семь раз подряд: четверть часа, страница, четверть часа, страница.

Независимо от того, докуда дошёл палец.

— Магистр, — сказал он вечером. — Он не читает и не считает. Он выдерживает распорядок.

Метод придумали втроём — Морвейн, Грейв и Одвин, — и придумали его за пять дней, и Александр в этом почти не участвовал, о чём впоследствии не жалел.

Начал Грейв.

— Господа, — сказал он на второй вечер, — я двадцать лет вёл дознание и скажу вам, что усвоил. Человек, который не хочет говорить, всё равно говорит — телом, привычкой, порядком

действий. Когда я допрашивал орденских беглецов, я половину узнавал не из ответов, а из того, в каком порядке человек снимает и надевает вещи.

— Магистр, — осторожно заметил Морвейн, — но эти люди не «не хотят». У них нет содержания.

— Вот именно, — сказал Грейв. — У них нет содержания и остался порядок. А порядок, магистр, есть отпечаток содержания. Я не могу спросить у него, что он делал. Но я могу поставить его в положение и посмотреть, что он станет делать.

Одвин, слушавший молча, поднял голову.

— Магистр Грейв. Вы предлагаете их пробовать.

— Предлагаю.

— Как скотину.

— Хуже, — сказал Грейв. — Скотина хотя бы возражает.

В избе стало тихо.

— Одвин, — произнёс Александр. — Скажите вслух, что вы думаете, и скажите сейчас, а не через месяц.

Одвин долго молчал.

— Я думаю, что это мерзость, — сказал он. — И я думаю, что мы это сделаем. И я думаю, что через двадцать лет об этом напишут, что Орден Пепла ставил опыты на беспамятных, и напишут правду. — Он посмотрел на Грейва. — Магистр. Одно условие, и оно не обсуждается. Всё записывается. Всё, включая то, что мы сегодня сказали. Слово в слово, с именами говоривших. Я не желаю, чтобы через двадцать лет кто-нибудь смог сказать, будто мы не понимали, что делаем.

Проб было четырнадцать.

Двенадцать не дали ничего.

Северина сажали за пустой стол — он сидел. Клали перед ним перо — он брал и держал. Ставили миску — ел. Выводили во двор — шёл и садился лицом на север. Давали в руки орденский нож — держал, не проявляя ни малейшего интереса, и, положенный на стол, оставлял.

Четверых дозорных — старшего, среднего, младшего и женщину — пробовали тем же порядком и получили то же: они были живы, послушны и пусты.

Тринадцатая проба была идеей Одвина.

— Приходную книгу он держит четверть часа и переворачивает, — сказал он. — Это его распорядок, и он не орденский: у нас страницу не переворачивают по времени. Стало быть, распорядок чужой. Стало быть, кто-то его этому научил.

— Или он видел, как это делают, — сказал Грейв.

— Или видел, — согласился Одвин. — Так вот. Я хочу посадить рядом с ним второго.

— Кого?

— Меня, — сказал Одвин. — Я сяду напротив с той же книгой и стану делать то же самое. И посмотрим, изменится ли что-нибудь.

Ничего не изменилось.

Одвин просидел напротив него шесть часов, ведя пальцем по строкам и переворачивая страницу по песочным часам. Северин не отреагировал ни разу.

Четырнадцатая проба принадлежала Морвейну, и Морвейн предложил её на девятый день, ночью, разбудив всех.

— Мы делаем не то, — сказал он, стоя посреди избы в ночной рубахе и с подсвечником. — Простите. Мы делаем не то с самого начала, и я понял это только сейчас, потому что мне приснилась моя матушка.

— Магистр…

— Дайте сказать, покуда держу. — Морвейн поставил подсвечник. — Мы всё время даём ему предметы. Книгу, перо, нож, миску. Мы полагаем, что предмет вызовет привычку. А привычка, господа, вызывается не предметом. Она вызывается положением.

— Поясните, — сказал Александр.

— Мне приснилось, как матушка звала меня к столу, — сказал Морвейн. — Мне шестьдесят один год, она умерла тридцать лет назад, и я, не помню ни её голоса, ни слов. Но я во сне пошёл. Понимаете? Не вспомнил — пошёл. Потому что «зовут к столу» — это не предмет и не слово. Это положение, в котором у человека есть только одно действие.

Он оглядел всех.

— Мы спрашиваем у него: что ты делал? Надо спрашивать иначе. Надо ставить его в положение и смотреть, какое действие у него единственное.

Первое положение придумали к утру.

К Северину подошли двое братьев, взяли под руки, вывели за околицу и оставили одного в трёхстах шагах от обители, лицом на юг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.